

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ЯБЛОКО РАЗДОРА.
УРАЛЬСКИЕ ХРОНИКИ

Георгий Баженов

Яблоко раздора.
Уральские хроники

«Баженов Георгий Викторович»

1997

Баженов Г. В.

Яблоко раздора. Уральские хроники / Г. В. Баженов — «Баженов
Георгий Викторович», 1997

ISBN 5-7838-0143-7

Любовь – основа жизни, залог бессмертия человека. Именно этой теме, теме любви, посвящены произведения известного русского писателя Георгия Баженова. Эта книга – о сильных русских женщинах. Действие книги происходит на Урале, на родине писателя.

ББК 84

ISBN 5-7838-0143-7

© Баженов Г. В., 1997

© Баженов Георгий Викторович, 1997

Содержание

I	5
Яблоко раздора	5
Глава первая	5
Глава вторая	6
Глава третья	10
Глава четвертая	13
Глава пятая	20
Глава шестая	25
Глава седьмая	31
Глава восьмая	35
Глава девятая	39
Встречи – расставания	41
Глава первая	41
Глава вторая	45
Глава третья	50
Глава четвертая	60
Глава пятая	66
Глава шестая	73
Глава седьмая	80
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Георгий Баженов

Яблоко раздора. Уральские хроники

I

Яблоко раздора

Памяти Любови Баженовой

Глава первая

Иван подымался в дом по высокому крыльцу осторожно и тихо. Он старался, чтобы снег не скрипел под сапогом, но снег скрипел. Назло скрипел, думал Иван.

Не успел он переступить порог, как Маша, жена, метнулась в большую комнату.

– Маша! – позвал Иван.

Маша не ответила.

– Маша! – уже крикнул он. – Жена!

Она вышла из комнаты, скрестив на груди руки, и с гордой независимостью посмотрела на мужа.

– Ты чего прячешься? – спросил он.

– С чего это ты взял?

– Да вот, как зашел – ты и метнулась, а потом зову, зову – не отвечаешь... – Он пристально и серьезно разглядывал жену и старался угадать, случилось все-таки что или нет. Он и домой пришел, потому что дважды за день схватывало внутри от беспокойства.

И все же решил не торопиться с расспросами, разделся, прошел на кухню, помыл руки, сел за стол:

– Накормишь?

– Сам накормишься!

– Накормлюсь, не без того... – Он обиженно запыхтел, догадываясь, что и смелость эта неспроста, есть для того причина.

Маша стояла, опершись на косяк, все так же скрестив на груди руки, и, презрительно оттопырив нижнюю губу, смотрела на мужа:

– Что, она-то плохо тебя кормит?

– Кто – она?

– Да она! – твердо сказала Маша. – Ведь ходит к тебе в лесничество какая-то?

– А... – неопределенно протянул Иван, а про себя подумал: «Тебе можно было, а мне нельзя?..»

Налив щей, он начал хлебать.

– Телеграммы тут принесли, – словно невзначай сказала Маша.

– Телеграммы-ы?... – Он поднял на жену как будто радостные и озорно-шалые, а на самом деле испуганные, в глубине, глаза, криво улыбнулся.

– Сын приезжает, демобилизовался! – Она сказала это с твердой и открытой радостью.

«Вот оно что-о! Вот что-о!...» – Искреннее и легкое счастье скользнуло на лицо Ивана.

– А эта, – показала жена, – видать, от сестры твоей! Срочная! – И бросила мужу телеграмму. – Не бойся, не распечатывала. Мне ведь нельзя, – сказала она с издевкой, – вмешиваться в ваши родственные дела!

Отложив ложку, Иван нагнулся, поднял с пола телеграмму, распечатал.

28 УМЕР ГРИГОРИЙ ПОХОРОНЫ 1 ДЕКАБРЯ ОЛЬГА

Он прочитал раз. Прочитал два.

«Значит, умер... умер... Ты скажи...»

– Дай телеграмму от сына, – попросил он Машу.

– Это еще зачем?

– Дай. – Он не знал, зачем.

Маша принесла из комнаты телеграмму.

СТАРИКИ ДЕМБЕЛЬ БУДУ СКОРО ЕВГЕНИЙ

Иван читал, но думал свое: «Умер Григорий-то... ты скажи... Умер все же... Верно, что старики... уж тут полный дембель, полный...»

Он сидел, смотрел в окно и мял губами. Со стороны казалось, что он думает сейчас крепкую думу, но ничего такого он не думал, просто сидел и повторял про себя: «Умер... скажи на милость... вот уж дембель так дембель. Полный дембель...»

– Григорий умер, – сказал он Маше.

Вечером он сходил за водкой, сел дома за стол, налил две стопки:

– Выпей, Мария.

Жена подошла и покорно выпила.

– А теперь уйди.

И она ушла, и было так, словно нет ее в доме, незачем быть. О многом мог думать теперь Иван Никитушкин, многое мог вспомнить, да не о том дума. Умер брат Григорий, нет его больше. Простить его или не простить?.. Нет, даже и не в этом дело – кому надо прощать мертвых, кому это надо! Дело проще: ехать хоронить брата или не ехать?..

Глава вторая

Дорога, по которой шагал Григорий Никитушкин, не простая дорога. Вьется да петляет она к родному поселку, в котором не был сержант Никитушкин с самого начала войны, с самого начала ее, проклятой... Прихрамывая на правую ногу, Григорий почти бежал. Августовское солнце палило жаром, пот катился по лицу, по спине, но это ничего. Скорей бы домой, домой...

Он вбежал в дом, сильно хлопнув дверью, и кто-то ойкнул испуганно.

– Мир дому сему! – весело сказал Григорий и прислушался. – Есть кто дома?

Стояла тишина. Григорий улыбнулся; знал он: если такая тишина, обязательно в доме человек (от разведки еще осталось).

– Стрелять буду! – пошутил Григорий. – Ну!

– А я и дома, – вышла из кухни полная девочка. – Вам кого?

– А ты кто такая?

– Машенька я.

– Чего тут делаешь?

– Нет, сначала – вы кто такой?

Григорий не сдержался – такого смеху и веселья закатил, что соседка, через огороды, перекрестилась: «У Никитушкиных-то чего такое? Свят, свят!...»

– Я – Никитушкин! – объявил Григорий.

– Григорий Иванович, стало быть? – облегченно вздохнула девочка.

– Стало быть, Григорий Иванович.

– Напугали вы меня, – как-то просто созналась девочка. – Зачем так пугаете?..

– Да ты скажешь, наконец, кто такая? – Но уже не грозно спрашивал Григорий Иванович.

– Машенька я. – И очень важно добавила: – Жена я Ивана Ивановича.

– Это какого еще Ивана Ивановича?

– А как будто не знаете? Братца вашего, Ивана Ивановича Никитушкина.

– Ваньки? Жена? Постой, постой... как жена? Ваньки? Сопляка этого? Да вы что, с ума спятили?! – И вновь закатился, но теперь уже обидным смехом Григорий Никитушкин. Он был тощий, длинный, и, когда смеялся, смешно было над ним самим: как жердь, вот-вот сломается, стоит, кланяется, руками размахивает.

Машенька тихонько прыснула.

А перед глазами Григория встал – сколько ему тогда было, двенадцать, тринадцать? – Ванька: всклоченный, сопливый... И этот вот сопляк, этот его младший брат – Иван Иванович теперь? Муж? Жену – девчонку! – заимел? «Ну, братцы, – думал Григорий, – вы что хотите думайте, а я... А я – ни хрена-то я не понимаю, вот что, братцы!»

И так вдруг резко оборвал свой смех Григорий, так круто смолк, что снова напугал Машеньку.

– Какой вы... – сказала она. – Все пугаете...

– Да что ты заладила: пугаете да пугаете... – Он нагнулся, поправил голенища сапог, а выпрямившись, спросил: – Хозяева скоро будут? – И с тем прошел в дом.

– Хозяева? А-а... вы, верно, про свекра Ивана Федоровича говорите? Так они совсем не придут, Ваня только будет... Мы с Ваней вдвоем тут живем. Да вы проходите, проходите, поди, не в чужой дом-то пришли! А Иван Федорович навсегда в лес ушел, там и поживают. Тут, говорят, скучно, да и... – Она запнулась.

– Да и?

– Да и мы... я, то есть... не очень ему по душе. Это правда. Только Ваню-то он сильно, кажется, любит... Тогда, говорит, живите с ней, мне не жалко, теперь, говорит, ничего не жалко – все под гору. Вот и живем... А Ваня скоро уже будет. Скоро!.. Хотите чайку?

– Хочу.

– Так я сейчас, сейчас... Я мигом.

И только было он пить начал горячий, на смородиновом листе настоящий чай, только было посидеть вздумал, побаловаться, как говорится, чайком, подумать размеренно – ан открывается дверь, а в дверях – да неужели брат, неужели Ванька, Иван?.. А ведь он, он, шельмец, только все в нем – как будто чужое: рост, плечи, голова...

Бросились братья друг к другу! Родное, кровь своя, никитушкинская, отчаянная кровь билась в жилах и вот – стакнулась. Эх, брат, брат! – шептали они и хлопали друг друга нежно и сильно по плечам. Улыбались, смеялись... А ведь они, когда прощались, совсем были не те: оба мальчишками прощались, оба, хотя Григорий уходил на войну...

– Ну а отец тут как? – Григорий отстранил брата и глянул ему в глаза: – Ишь ты какой ста-а-ал!..

– Да отец чего, – улыбался Иван, – отец ничего... Прийти вот обещался. День рожденья ему сегодня. Придет!..

– Ну?! Неужто день рожденья? Неужто сегодня?

– Сегодня, – сказал Иван и снова улыбнулся. – Сегодня и есть.

– Тогда хорошо я прибыл! Ох как хорошо! В самую, как говорят, точку!..

Сидел Иван Федорович Никитушкин против двух сыновей и снохи, смотрел на них спокойным глазом. Детей давно уже хмель взял, а Ивана Федоровича медовуха не брала. Что думать ему про сыновей? Что сказать себе? Любит он их?.. Иван-то бы еще ничего, ничего

еще, но женился, дурак! На ноги не встал, крыльями хорошенько не взмахнул, бабу ни одну не попробовал – а туда же: полез в хомут, сам, осьмнадцати лет. Дурак!.. О Григории вовсе нет разговора – это отрезанный ломоть, увидишь! Урал-сторона ему уж не в родину, дом родной не в дом, куды-ы!.. Уехать надумал куда-то, и-ишь!.. Да-а... Ну а Ольга с женой – те бабы. Как уехали в сорок четвертом, так и живут с балбесом зятем, у черта на куличках. Да они – хоть пропади пропадом, черт с ними! С бабой царства не построишь, сети не сплетишь; лишние бабы люди! Нашто живут на свете? Рожать? То-то, что только... А уж о снохе говорить, так вообще одно слово: соплюха!..

Вот что думал Никитушкин-старший, пока сыновья пьянели; думал он об этом спокойно, без напряжения, так что не поймешь – то ли просто сидит, слушает, то ли думку какую задумал...

– Ну, я, значит, и притаился, жду... – Прислушался отец к рассказу Григория. – Да что ты, думаю, оглохли они, что ли? И ведь самое странное – вижу, как сидят они, трое, в блиндаже, смирененько, спокойненько: один книжку читает, другой портки штопает, а третий – Маша, ты не слушай! – баб голых в журнальчике рассматривает. Не задание, пальнуть бы пару раз! Но нельзя: «язык» – он тогда «язык», когда живой... А погода стоит – прямо не верится. Одно солнце! Сначала это еще ничего, с утра, не жарко, а потом как начало припекать, пот градом... А ты не шевелись! А какой там не шевелись, если я стрелял даже, а они как глухие...

Григорий обвел всех взглядом. Старик Никитушкин и Иван слушали с интересом, но как бы и с недоверием: Григорий в разведке служил, это точно, но уж больно странный случай... А Маша верила всему. Подперев лицо кулачками, она глядела на Григория не отрываясь и слушала с восхищением. Григорий не походил на героя, длинный, тощий, смешной, но был, видно, настоящий герой. Не то что мы, думала Маша, жили здесь, ничего не видели...

– На войне, чуть не на передовой, в блиндаже, – продолжал Григорий, – сидят фрицы, ничего не слышат и не боятся? Не может быть!.. Думаю я так, а сам снова подымаюсь – ив дверь. Стою в проходе, автомат наготове, и ору: «Хенде хох!» Даже не шевельнулись. «Хенде хох!» – ору изо всех сил. А фриц, который голых баб рассматривал, как заулыбается... Повертывается, чтобы, видно, дружку своему показать...

Маша неожиданно вскрикнула.

– Тихо, Маша, – сказал Иван.

– ...и видит: в дверях, с автоматом, стоит русский солдат. Он аж онемел! Бац, дружка своего по руке, тот спокойно оборачивается, увидел меня – и тоже окаменел. И третий так же. Стоят, рты разинули, руки подняли, глазами хлопают... – Григорий усмехнулся. – Привожу, значит, на позиции, сдаю фрицев начальству. День проходит, два, я жду: вот-вот, мол, вызовут к командиру батальона, к награде представят... А по батальону уже слухи ползут: Гришка, мол, Никитушкин, спятил... поймал где-то глухонемых фашистов и приволок...

Григорий не выдержал и рассмеялся. Он смеялся так заразительно и искренне, что напряжение от рассказа спало; засмеялся и Иван. А Никитушкин-старший подумал: правда, дурак он, Григорий... Одна Маша не знала, то ли смеяться, то ли слушать дальше, то ли спросить чего-нибудь... С напряженным, вытянутым вперед лицом глядела она на Григория Ивановича.

– А ведь верно, – закончил Григорий, – оказались они глухонемыми. Ха-ха-ха!

Долго еще сидели, вечеровали... Нет-нет, среди разговоров, да и вспомнится Григорьев рассказ: снова смех, легко...

Утром нежно толкнули в плечо: вставай... Григорий не просыпался. «Вставай же, Григорий, вставай...» Голос был тих, но настойчив. Григорий открыл глаза.

– Кто это?

– Я... Иван.

– А-а... – Григорий потянулся. – Я сейчас, Ваня... мигом...

– А то можешь спать. Выспись. После придешь...

– Не... я с вами! Ты иди, я сейчас...

Как не хотелось вставать!

Григорий вздохнул, скинул с себя одеяло. Быстро оделся, пошел на кухню, умылся. И как умылся, так стало свежо и, кажется, легче.

– На вот! – сказал Иван и подал стопку.

– А ты?

– Я по утрам не хочу. Не могу.

– Это пройдет. – Григорий выпил медовуху. – Пройдет, – и улыбнулся.

– Не знаю. Я пить не собираюсь, незачем это. Баловство.

Иван собирал в сумку кой-что из еды, двигался по кухне осторожно и мягко, чтобы не разбудить Машу.

– Однако пойдем... Отец давно ждет.

Они вышли из дому.

С востока подымалось уже солнце. Влажный белый дым клубился с трав, ввысь, к чистому и синему августовскому небу.

Старик сидел лицом к солнцу. Теплый свет несколькими лучами разрезал туман и согревал морщины старика.

– Здорово, отец! – сказал Григорий.

– Здорово, коли не шутишь.

Григорий вспомнил вчерашнее упорное молчание отца и понял, что тот как будто не доверяет ему в чем-то.

– Ну, пойдем, што ли? – Иван потянулся, зевнул. – Чего время терять?

– А пойдем, пойдем, – согласился Иван Федорович и поднялся с бревна.

Вскоре они оставили поселок, вошли в лес. Дорога звала в гору, гор здесь много, но эта дорога – на самую высокую гору, где на вершине, как каланча, дыбится Высокий Столб. Сюда из своей избушки и забирается Иван Федорович, но теперь, правда, все больше помощник, сын Иван, забирается, чтобы видеть далеко кругом широкое лесное богатство.

Григорий ушел вперед: не стерпеть ему хозяйского медленного шага отца и брата. Как давно он не был в этом лесу! Как давно не вдыхал запахов этих!..

За полчаса добрался он до Высокого Столба, действительно очень высокого, но шаткого, почерневшего от времени деревянного крупнобokoго строения. Долгая ненадежная лестница извивается, как змея, вверх – и по ней, не раздумывая, устремился Григорий ввысь. Он взбирался долго, закружилась голова, устали ноги, но он спешил, скорей туда!..

И он – наверху. Родная сторона, но как будто величественней, чем раньше, открылась ему. Он закрыл глаза и ощутил, – так плавно закружилась голова, – что живет на земле, которая беспрестанно вертится, движется... Он открыл глаза – и мир остановился. Теперь, чтобы видеть вокруг, он сам должен медленно поворачиваться...

Он увидел сначала, что маленький, с игрушечными домами и улицами поселок, в основе своей, залег в низине, меж гор, Уральских гор; лишь южной своей окраиной он, как упорное и живучее животное, пополз в горы, достиг в одном месте вершины, а несколько улиц даже перешагнули вершину и спустились на другую сторону гор. Именно по эту сторону, в еще большей низине, лежал голубой утренний пруд. В пруду кишмя кишит рыбы – и заныло рыбацкое сердце Григория. Он поклялся в эту минуту, что сегодня же вечером отправится на рыбалку, лодка у отца есть. Пойду, думал он, поначалу на Северушку – во-он она!.. – гольянов наловлю, а потом гольяна – на окуня, на щуку, на них, окаянных! И уже слышал Григорий, как потрескивает в ночи костерок, как побулькивает варевоуха, запах почуял, тонкий и далекий, наваристой ущицы!..

А пруд, огибая одну из гор, соединял две низины, только северная его часть, та, что лежала с поселком в одной чаше, была много меньше южной. Около этой-то, северной его

части, пристроился небольшой металлургический завод. Три трубы – раньше одна была, значит, две появились во время войны – дымятся белесым дымом; и даже этот дым, в общем, вредный, Григорий воспринял с тихой радостью. Он пошарил глазами по территории завода и с облегчением увидел, как снуют по веткам крохотные паровозики, и улыбнулся. И подумал: здесь и буду работать, машинистом, никуда, как надумал, не поеду, чего тут не хватает? Нет, здесь, только здесь. Навсегда...

С этой мыслью продолжал Григорий разглядывать родину и вбирал в себя, как дым папиросы, легкое счастье...

Лес вокруг шумел и растекался в иных местах до горизонта. Он стоял то дремучий, густой, темный, то редкий, светло-зелено-желтый – от берез; то горячий, почти как угли, – от осин, которые, собираясь по осени вместе, пылали заревом; то тихий и скромный – там, где елочки, под которыми весело набрать молодых упругих рыжиков полную ведерную корзину; то строгий, строевой сосновый... И видит Григорий, как ходят люди, а машины ездят – по поселку; видит, чувствует огромную напряженную работу завода; видит и лодки, плывущие по пруду; видит – справа, в низине, через поле ржи вьется коричневая дорога, по которой идут на Северушку, на рыбалку, ребята; и многое, многое еще видит Григорий – но ни один звук, кроме шума леса, не слышит он! Все тонет в плотном – ночью страшном – говоре леса...

– Э-э-эй! – кричат Григорию снизу. – Э-э-эй!..

Он смотрит сверху: до чего же крохотны отец и брат.

– Ого-го-го-о!.. – кричит он в ответ.

Глава третья

Евгения Никитушкина, демобилизованного солдата, из Сибири на Урал вез поезд; это был обычный, пассажирский поезд. Покачиваясь, плыли в окнах то леса, то озера и реки, то в каком-нибудь поле все обрывалось, поезд долго стоял и пронзительно свистел. Пронеслся навстречу скорый...

Попутчики оказались неинтересные: две строгие, в очках, женщины и мужчина-юрист. Вначале Евгений приглядывался к одной женщине, которая, сняв очки, становилась мягкая и добрая от круглых щек, но потом, по слишком уж официальным: «Светлана Петровна, вы пойдете кушать?» – «Нет, Павел Иванович, я попозже...», вдруг понял, что Светлана Петровна и Павел Иванович – это муж и жена, только ехали они, кажется, разводиться.

«Пижоны несчастные!»

Другая женщина, Люся, все время почти сидела, уткнувшись в книгу, и двух внимательных взглядов было достаточно, чтобы понять: ничто, кроме книги, не интересует ее. Одну книгу прочитав, она бережно, из чемоданчика, доставала следующую – и так же, словно читая продолжение, уходила в нее без разбегу.

На одной из станций Евгений вышел, походил-походил по перрону, купил в ларьке вина. В купе на охапку бутылок взглянули с ужасом и любопытством, а Евгений, хоть и не хотел этого, подмигнул соседям. Он сходил к проводнице, сказал ей:

– Дорогая, нет ли у вас лишних стаканчиков? – и улыбнулся той улыбкой, которая одновременно и хороша, и вежлива, и насмешлива, но главное – подкупающе добра.

Проводнице, особенно строгой, потому что была молода, не было и восемнадцати лет. Ей очень нравились солдаты, вообще военные, только она никому об этом не рассказывала, даже подружкам своим, когда они мечтали о женихах: «Ой, девочки, как все-таки это страшно – выходить замуж!»

Перед ней стоял высокий («Очень, очень добрый, наверное!») солдат, которого она, конечно, сразу приметила, и называл ее «дорогой».

– Сколько вам нужно, гражданин?

– А сколько не жалко?

– Нет, я вас серьезно спрашиваю, гражданин... – Она прыснула.

– Если ты Наташа, давай четыре...

– Наташа... – растерялась она. («Откуда он знает?!») – Вот, пожалуйста, четыре стакана.

Только верните...

– А меня зовут Евгений. Проходили в школе «Евгения Онегина»?

Снова прыснула.

– Только я не Онегин. – И он развернулся. – Я Никитушкин!

Наташа, улыбаясь, посмотрела вслед Евгению, но вдруг как будто опомнилась, посерьезнела: «С этими шутниками надо быть строгой!...»

– А вот и мы – шапка да пимы! – входя в купе, сказал Евгений.

Он распечатал бутылки, налил по полному стакану и произнес торжественную речь:

– Товарищи соседи! Прошу выпить за здоровье демобилизованного солдата исторического 1968 года! Ура, товарищи!

Но никто и не притронулся к стаканам.

– Павел Иванович, ну хоть вы-то стаканчик! Выручайте солдата...

Павел Иванович посмотрел на Светлану Петровну, вздохнул... Было ясно, что из-за этого «одного стаканчика» немало уже крови попортили они друг другу.

– Ну, Павел Иванович, дорогой!..

– Простите, молодой человек, – улыбнулся виновато Павел Иванович, – но... – Он как будто руками разводил. – Не пью...

– Вам х-а-ара-шо... – растягивая слова и явно насмехаясь, сказал Евгений, – вы не пьете...

Ему было все равно, пьет с ним кто или нет, смотрят на него с презрением (Люся, Светлана Петровна), пониманием (Павел Иванович) или вообще не смотрят. Плевать, если не понимают, что такое отслужить три года и возвращаться по демобилизации домой... Правда, ему не повезло чуть-чуть – все «ребятки» в октябре еще уехали, а он вот, один, в ноябре... Но он все же не расстраивается... Встает перед глазами летний вечер, второй этаж, балкон, офицер, жена его, перепуганная за Женю, который, недолго думая, махнул с балкона на землю... Да, хорошая у офицера жена была, Верой ее звали...

– Впрочем... – начал Павел Иванович, поглядывая на Светлану Петровну.

– Ага! – обрадовался Евгений.

– Впрочем... – Но все-таки сил у Павла Ивановича не хватило, он солгал: – А в каких войсках, интересно, служили, молодой человек?

– Это военная тайна, ха-ха!.. А вообще – в воздушно-десантных.

– Как – десантных?!

– Очень просто, десантных. Чего особенного?

– Постойте, постойте... но ведь и я... и я, понимаете ли, тоже в десантных... в 53-м демобилизовался... Надо же, такое совпадение!..

«Ну, теперь все! – было написано на лице Светланы Петровны. – Начнет вспоминать всех своих Коль и Миш, как служили вместе, какие были времена. Старая песня!...»

– Нас, понимаете, было трое друзей: Коля Бух, я и Миша Сувалов. Так, верите ли, все мы попали в десантные, даже в один взвод. Ох, и давали мы жару! Честное слово!..

– Ну, теперь-то уж придется выпить, Павел Иванович! Не отвертись, старик! – Как бы ища поддержки, Евгений взглянул на Люсю, а та в это время прыг со второй полки, достала свой чемоданчик, вынула книгу («Эм-пи-ри-рическое и апр-апри-орное» – успел прочитать Евгений) и снова на полку.

В последний раз просительно взглянув на Светлану Петровну, Павел Иванович сказал:

– Была не была... С десантником грех не выпить. Десантник – первый воин в наших войсках!

Он решительно взялся за стакан. Пока они чокались, Светлана Петровна успела встать и демонстративно вышла из купе.

Она стояла в коридоре и глядела в окно. «Как ты не понимаешь, Павел, – будет говорить она позже, – что это низко, подло, эгоистично – встретить в пути первого попавшегося человека и начинать с ним пить! Сколько сил, энергии ты расходуешь зря, а разве так уж много в тебе всего этого? Ты болен, нервен, с молодости много пил, тебе нужно наверстывать упущенное, столько нужно еще прочитать, узнать! Нельзя же всю жизнь тянуть на багаже, который получил еще в институте! Подумай, Павел, подумай, что ты делаешь! Как тебе не больно так жестоко обкрадывать себя! Ведь жизнь действительно прекрасна, это без Островского, без высоких слов – но ведь, в самом деле, это так!...»

А Павел Иванович с Евгением особенно сошлись на том, что с гондолы прыгать страшней, чем с самолета. На втором уже году, в 67-м историческом, Евгений однажды, во время инспекторской проверки, никак не мог оттолкнуться ногами от мостика. Мостик пружинил, Евгений стоял, как над пропастью, и не мог оторвать от доски ног. А за спиной было уже 17 прыжков с самолета, во как случается!.. Что-то подобное было и с Павлом Ивановичем. Правда, он все-таки сам прыгнул, его не толкали в спину, но когда прыгнул, повис на стропях. Видно, укладывая парашют, привязал стропы к куполу, а ни командир отделения, ни взводный не заметили – вот и повис. «Ну, думаю, все, каюк – вдруг бац, па-а-алетел вниз! С гондолы ножом пластанули... Но это еще ничего. Вот в 52-м, как ты говоришь, историческом...»

Светлана Петровна вернулась в купе и, ни слова не говоря, забралась на вторую полку, тихонько, как мышь, повозилась там, отвернулась лицом к стене и уснула...

Проснувшись, показалось ей, она нескоро, от шума. Павел Иванович, как рыба, открывая рот и шлепая губами, кричал на все купе: «Он! Он! Там!...»

Она поняла, что Евгений отстал. «Ну, и слава Богу!» Она посмотрела в окно – кружился над полем снег; как быстро летит время, давно уже зима!.. Она подумала об этом не с грустью, но с грустной радостью: каждое время года своей новизной волновало ее, приносило надежду...

Евгений зашел на станцию, походил немного, присматривая, где бы сесть, подмигнул девушке-телеграфистке, улыбнулся ей. Потом сел в углу на лавку, раскрыл чемоданчик... От поезда он не отстал, нарочно вышел здесь. Давно жила в нем мысль заехать на Красную Горку, раз придется проезжать мимо. С Красной Горкой у предков связана какая-то тайна, которую они упорно скрывали. Не особенно мучила Евгения «тайна», но все же интересно, в чем там дело. Какого-нибудь плана в голове у него не было, так – русское авось...

С любопытством рассматривал он девушку-телеграфистку. Она иногда тоже взглядывала на него. Когда глаза их встречались, она свои затуманивала, словно не на него смотрела, а так, в сторону... Евгений улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Потом он долго не обращал на нее внимания. Когда сказал себе: «пора» – и взглянул на нее, глаза ее были открыты и понятны. Но снова долго и упорно не смотрел на нее. Может, она уже возненавидела его? Найдя ее глаза, он уже в открытую улыбнулся им, – и она тоже улыбнулась ему. Больше они не были чужими...

В десять Лия закончила работу, они вышли из здания. Темная, морозная, с ярким месяцем в вышине стояла ночь. Все, от станции вдаль, спало, отдыхало, лишь редко, погромыхивая или свистнув пронзительно, проходил мимо тяжелый состав. Где-то справа, не во все небо, шел снег – и в том краю светлей, словно молочная, виднелась ночь. Дышалось легко и вольно...

Только они было пошли, в дверях, кутаясь в шаль, показалась вторая телеграфистка.

– Лия! Из больницы...

– Что?

– Из больницы звонят!

Лия долго не выходила. Когда Евгений вернулся на станцию, она сидела за перегородкой, на своем стуле, как в воду опущенная.

– Что случилось? – спросил Евгений.

Лия не ответила.

– Да в чем дело, Лия?

Она посмотрела на него бессмысленными глазами и, как будто он что-то понимал, ответила:

– Григорий Иванович умер.

– Какой Григорий Иванович?

Лия молчала.

– Свекор ее, – сказала вторая телеграфистка.

Глава четвертая

Лодка врезалась в водоросли. Григорий направил ее так, чтобы видеть все жерлицы; было их шесть штук. Расставляя жерлицы в самых верных, памятных еще с детства местах, Григорий выбирал из бидона лучших, живейших гольянов и осторожно, боясь усыпить малька, продевал через его жабры колечко с двойником на конце лески. Колечки нужны для того, чтобы – не дай бог – не воткнуть крючок в спинку или в губу гольяна. С колечком же двойник плотно прилегает к тельцу, не ранив его.

Вечерняя скромная заря уже горела на западе. И воздух, еще не сумрачен, чистым и синим стлался по лавам вдаль. Ветра не было. Но на востоке, где лесу больше, горизонт уже сгущался и наступала оттуда летняя, пока светлая совсем, теплая ночь. Не скоро еще выйдет луна, не скоро над головой вызвездится небо, а все же день потухал... На лавах это самая пора для клева.

Григорий с лодки одной всего удочкой ловил окуней. Больших и толстых, он брал их также на живца, потому что жадны окуни и хищны. Казалось Григорию, что не успеет и забросить, как, мелькнув серебром, уже схвачен окунем несчастный гольян. Поплавков совсем не так, как если ловишь на червя, резко и глубоко уходил в воду и уже не показывался... Григорий дергал – и, блестя над темной водой, огромный окунь вырывался на воздух. Григорий тащил его на себя, хватал, но тот сопротивлялся, и, боясь, как бы окунь не ушел, Григорий бросал удочку и хватал рыбину уже двумя руками...

Он поймал так шесть или семь окуней, когда вдруг заметил, как завертелась, быстро и дерганно, одна из жерлиц; толстая леска, разматываясь, то резко уходила в сторону, то замирала в глубине. Взяла!.. Дрожащими руками, бросив удочку, Григорий схватился за весла – и наддал! Скорей, скорей к жерлице! Подходя к ней, он бросил весла, перестал направлять лодку, и она, вильнув, развернулась – Григорий чуть не выпал из лодки. Не обращая внимания, он левой рукой схватил лесу, а правой сильно и резко дернул вверх – подсек. Кожей ладони он почувствовал, какая сильная и дикая билась на крючке щука. Он дернул еще раз – и вздохнул облегченно: теперь вряд ли куда уйдет рыба, на двойнике сидит крепко. Он пустил лесу вольно, и жерлица с бешеной скоростью закружила танец. Щука рвалась убежать. Когда на рогатке совсем мало осталось лески, прочной и толстой, Григорий вновь взялся за нее, плавно потянул. Но как только щука дергала, он отпускал, однако осторожно и медленно, умиряя ее. Наконец щука осмыслила, что есть какая-то власть над ней, кто-то, как ни рвись, не пускает ее. Но она прожила немалую жизнь и выучилась хитрить и изворачиваться. Григорий почувствовал, как леса ослабла, и медленно начал вытягивать ее. Щука покорно шла вверх. Но Григорий не расслаблялся и не радовался преждевременно, знал он этих шук! Знал, но все же забыл... Забыл, что главное – это как раз последний миг, когда решается все. Щука не забывала этого ни на секунду. Она, когда Григорий видел уже черный хребет, когда решил, что все, победил щуку...

она вдруг с отчаянной силой нырнула под лодку! Ей нужно было, чтоб рыбак, растерявшись, сделал главную свою ошибку: со всей силой, которая у него есть, дерганул лесу к себе! Она оборвется, обязательно... И она действительно оборвалась. Рывок был настолько сильный, что, не удержавшись, полетел Григорий за борт...

К ночи он разложил на берегу костер и по всем правилам сварил уху. Обжигаясь, он хлебал из котелка жирный бульон – и был счастлив. Даже в детстве, кажется, не едал он такой ухи. Не было в ней того дымка, какой чувствовался в этой!..

Наевшись, Григорий пошел к воде, осторожно и тихо помыл руки. Кругом темная, но не такая крошечная, как у костра, настаивалась ночь. Высоко в звездах светила маленькая желтая луна, и свет от нее, казалось, кончался сразу же за ее ободком. И правда, ночь была темна... Тихо ли было в природе? Очень тихо... Но тишина была особенная, не молчаливая... То где-то треснет сучок, то бухнет что-то в воду, то сонная закричит вдали непонятная птица. А рядом весело и живо потрескивает костер, пламя у него яркое, но не красное, как будто прозрачное... И вокруг костра, как центра, шумит и действует, если вслушаться очень внимательно, ночная и полная жизнь. Она шумит, живет, а вокруг – и это невероятно – тишина и шум одновременно. Григорий думает над этим, мучается, счастливый, и вдруг понимает, что это в нем шумит кровь, что это в нем, по жилам, текут соки и силы. Он, впервые поняв такое, впервые услышав в себе это, поразился. Пожалуй, только сейчас так остро и неотвратимо почувствовал, что остался жив несмотря ни на что, что огромный и интересный мир есть, как таковой, не только для других, но и для него, Григория Никитушкина.

Ночь дышала покоем. Григорий вдыхал ее и слушал, и вдруг жалко ему сделалось, что он в эти секунды один.

Он поднялся и пошел от реки к костру. Протянул к нему руки.

Долго смотрел на пламя, сидя на корточках с протянутыми к огню руками, и решал, что делать в жизни дальше. Он молод, вернулся с войны, дай Бог, встретит, полюбит и женится на хорошей девушке. Сейчас он дома – а лучше дома ничего нет, значит, останется он дома, устроится машинистом... Утрами, в белых клубах пара, сам грязный, как черт, с паровоза он будет кричать кому-нибудь:

– Привет! – И ему ответят:

– Привет, привет, Гриша!..

Он размечтался и, мечтая, подумал, что просидит у костра до утренней зорьки, после пойдет на лодке проверять жерлицы. А проверив, приплывет на старое место и наловит здоровенных, широких окуней. Так мечтал он долго, глядя на пламя, и наконец в глазах его сонный поплыл туман... Надо спать... Но ведь он решил, что спать не будет... И боролся со сном сначала упорно, а потом, сдавшись, разложив у костра фуфайку, лег на нее и закрыл глаза.

Луна и звезды смотрели, как спит внизу человек, но не корили его. Утром, когда он встанет, будут отдыхать они. Утром, вместе с человеком, проснется солнышко, запоют птицы, а над землей и рекой заструится белый и холодный туман. А вскоре прокричит в поселке первый петух, потом второй... Потом замычит корова, к ней присоединится другая, и какая-нибудь хозяйка погонит нескольких оставшихся после войны коров пастись в лес...

Григорий просыпался ночью несколько раз, подбрасывал в костер дровец и засыпал снова. Он спал без снов.

Муська сидела на завалинке и грелась на солнце. Когда Григорий звякнул калиткой, она спрыгнула к его ногам, заластилась, замаякала. Свежий и дразнящий чуяла она запах рыбы.

– Брысь ты, попрошайка! – прикрикнула на нее Маша.

Она хотела быть строгой, но не получалось: очень уж любила Муську.

– А сейчас, сейчас!.. – обрадованно заулыбался Григорий. – Сейчас мы тебе дадим... Ишь ты, какая ласковая! Рыбки свежей хочется, да?

Григорий достал из бидона живого еще окуня.

– На, милая! – сказал он и бросил кошке.

Муська на лету подхватила рыбину, заурчала и, вращая разъяренными глазами, бросилась под крыльцо. Долго еще слышалось ее урчание...

– Ну, теперь здравствуй, что ли, хозяйшюшка! – рассмеялся Григорий.

Маша стояла перед ним растерянная и смущенная. С раннего утра затеяла она стирку и теперь, в мокром платье, с белой пеной на руках, правой ладонью прикрываясь от солнца, чувствовала себя застигнутой врасплох.

– Здравствуйте, Григорий Иванович, – прошептала она и покраснела. – С уловом вас.

– Эх ты – Григорий Иванович! – еще веселей рассмеялся Григорий и покачал головой. – Григорий Иванович, значит. Ну-ну!..

– Все смеетесь, Григорий Иванович... – тихо сказала Маша.

– Да какой я тебе Григорий Иванович?! Зови просто – Гриша. Григорий я. Как и Иван.

– Нет, – возразила Маша серьезно. – Вы же на войне были...

– Ну, был... И что?..

– Страшно было? Страшно, я знаю...

– Ладно, ну ее к черту – войну... Скажи лучше, уху будем варить? А то меня с уловом, а сама в кусты, да?..

Маша было тотчас бросилась в дом, руки помыть – да рыбой заняться, но Григорий оставил:

– Нет, это ты брось, это мы отложим. Ты лучше стирай, а я рыбу буду чистить. Идет?.. Или вот что: хочешь, стирать помогу?

– Да вы что, Григорий Иванович! Шутите вы!.. Да я сама, сама, я мигом!.. – Маша засуетилась, забегала. – Сроду у нас мужчины не стирали. Что вы...

– Ладно, давай так, – рассмеялся Григорий. – Пошутил я.

Маша выпрямилась, посмотрела на него, улыбнулась:

– Всегда вы так... то пугаете, то шутите... – И, помолчав, добавила: – А Ваня совсем не такой, он серьезный, прямо не знаю как! – Она улыбнулась вновь, но теперь как-то по-другому, мечтательно.

– Ну, Ваня! Ваня у нас что! Ваня – это... – Григорий не нашел слова, лишь улыбнулся.

И хотя Маша не совсем поняла Григория, но почувствовала, что Ивана похвалили, и обрадовалась...

Вскоре каждый занимался своим делом, но, когда нужно было, Григорий помогал: то чистой воды принесет, то грязную выльет в канаву, а то и ласковое слово скажет. Тоже помощь, кто понимает... Но больше сидел он на крыльце и потрошил рыбу... За делом и разговором он как будто ничего не видел, не примечал, а между тем, хотел он этого или нет, маленькая хлопотливая женщина-девочка странным образом входила в жизнь Григория. Вот она разогнулась, убрала со лба прядь волос – мыльной рукой – и снова стирает. Что в этом? Ничего, но сердце кольнуло. Вот она обернулась и что-то сказала, он не расслышал и не ответил, он видел только, как шевелятся ее губы. И в этом нет ничего, но сердце кольнуло. Вот ветер, прилетев, дохнул на ее платье, и оно, углом, вытянулось вправо. И в этом как будто ничего... Лицо Григория было грустным.

– А вот вы с ухой, когда сварим, пойдите в лес. К Ване, на Высокий Столб – и не будет вам скучно! – улыбнулась Маша, выжимая мужнину рубашку.

– Да разве мне скучно?! Просто я устал. – «Неужели что понимает, видит?» – Да и куда я не хочу, дома буду отдыхать. Ты сама лучше сходи. Иван-то, верно, сильно соскучился, а?..

– А вы уж все понимаете, Григорий Иванович... Стыдно ведь, не надо...

– Здравствуйте-пожалуйте! Стыдно бабе, что трясет на ухабе. На ухабе трясет, по мужу тоскуют... Да-а!..

Маша покраснела.

– Нет, – сказала она. – Не пойду я. Ваня вас звал. Пускай, говорит, Григорий придет. Ждать будем...

Долго после этого молчали, и было обоим хорошо, неизвестно почему. Выстирала, прополоскала, а кое-что, особенно постельное белье, подсинила Маша, развесила все по веревкам и, уставшая, присела рядом с Григорием, сложив на коленях руки. Они, как и вся она, были маленькие, нежные, как у ребенка. Григорий не выдержал, поднялся с крыльца и ушел в дом. Маша сидела и глядела вокруг. Приятно отдыхать и понимать, что войны уже нет, никого не убивают и не вздрагивает она по ночам, как раньше, от страха за людей; теперь, думала она, жизнь пойдет как надо, и хоть тяжело еще – ни есть, ни пить нечего, – но все наладится. Скоро уже сентябрь, и она, первый раз в жизни, не ученицей в школу пойдет, а учительницей. И будут ее звать Марией... ах, зачем мечтать! Что-то еще будет... еще ничего не получится, сорвется все... Никогда не могла она представить, как уже учительницей войдет в класс. Ей казалось, все встанут и начнут над ней смеяться, что она такая маленькая и сама еще как девочка...

Солнце, уже высокое и горячее, палило над поселком, и Маша вдруг спохватилась: чего сижу-то? Или делать нечего?.. Быстренько вскочила, побежала в дом. Григорий занимался на кухне, каждую рыбку тщательно промывал, а промытой – любовался. «Хорошо, наверно, было на рыбалке. Одному...» – позавидовала Маша и вздохнула, не зная, почему. Она задумала помыться, но на улице постеснялась, – вдруг Григорий Иванович выйдет? – принесла в тазике колодезной, нагретой на солнце воды и зашла за ширму. Помоемся, а потом с Григорием Ивановичем сварят они уху. Оставят ухи и Ване, и свекру, они будут есть – и похвалят...

– А из щук пирог испечем. Правда, Григорий Иванович? – спросила Маша, начав мыться.

– Из щук-то? – Григорий, выглянув из кухни, последние слова произнес как бы удивленно и запнувшись: – А ты умеешь... печь-то?..

– Умею! Еще как умею я! – ответила Маша, плескаясь.

В окно, за ширмой, светило веселое солнце. На ширме, как на экране, увидел Григорий силуэт Маши.

«Что же она?.. Разве не понимает?..»

Тень нежной, нагой девочки видел Григорий.

«Сказать? Но как? Нет, нет... нельзя...»

Ему было стыдно – и хорошо. Все случилось непроизвольно, и ничего, кроме нежности к женщине, не испытывал Григорий. Сердце его громко, будто на всю избу, билось в груди. Маша, от счастья, воды и солнца, радостно разговаривала с Григорием, и он что-то отвечал, но совершенно не понимал, что. Он впитывал в себя каждое движение, каждый легкий взмах Машиных рук. Видел мягко очерченный профиль тела, от каждой линии исходило очарование. «Зачем, зачем, зачем!..»

А Маша, вымывшись, уже сушила волосы полотенцем и все спрашивала, потому что Григорий молчал:

– А вы, Григорий Иванович, пироги с поджаристой корочкой любите? Я страсть как люблю!.. – И тихо смеялась.

Он смотрел, как тело ее плавно покачивалось, когда встряхивала она головой и волосы рассыпались по спине. Они спадали низко-низко, пушистые и, наверно, мягкие... Забывшись, он протянул руку, и так и остался стоять, с протянутой вперед рукою...

Выйдя вдруг из-за ширмы, успев сказать: «Ну, помылась, кажется, слава Богу!..», Маша увидела Григория Ивановича с протянутой, как у слепого, рукой... Она вскрикнула, оглянулась – и все поняла. На ширме четко и впечатляюще выписалась тень табуретки и таза, а в окно такое знойное полыхало солнце.

– Маша... – только и сказал Григорий.

Всклипнув, Маша бросилась из избы.

До позднего вечера просидела Маша на берегу Северушки. Ничего вокруг не замечала, а все думала, думала...

Она представляла, как Григорий Иванович смотрел на нее, когда она мылась, вспоминала его лицо, протянутую к ней руку – и испытывала палящий стыд. Снова слезы выступали на глаза ее. В бессилии и отчаянии она потихоньку выплакалась, после слез было уже легче. Она спросила себя: нужно ли рассказывать о случившемся? Если не рассказать, получится, что она боится чего-то, чувствует себя виноватой, что какая-то общая тайна – и это уже страшно! – есть у нее и у Григория Ивановича. Нет, нет, она должна рассказать, должна! Но кому? Ване? Нет, ему нельзя, Ване нельзя... что тогда будет! А кроме Вани совсем некому... совсем, совсем некому: он единственный родной и дорогой человек... Значит, нужно промолчать, никому ничего не рассказывать. Но как можно! Ведь случилось такое, такое!.. Как-то надо наказать Григория Ивановича, что-то нужно сделать, чтобы он понял... так нельзя, нехорошо, очень, очень так плохо поступать... подсматривать, как моется женщина! Вновь Маша представляла весь ужас случившегося, она как бы глазами Григория Ивановича рассматривала себя, – и сердце было готово выскочить из груди от отчаяния и унижения. Всю ее, каждую часть тела, каждую линию, – даже родинки, наверное?! – каждое движение, все, все видел Григорий Иванович. Он теперь знает ее всю, никуда от него не скроешься. Теперь, как ни взглянет, может сказать: «Э-э... красавица, знаем мы тебя... Ишь нарядилась в платье! Знаем, знаем...» Маша краснела, бледнела, заплаканными глазами глядела на воду – и приходило ей в голову, что лучше всего умереть. Но она боялась умирать совсем, ей хотелось умереть лишь ненадолго, она любила жить.

Проходило время, чистое небо затянулось облаками, и яркое солнце уже не блистало, а, словно расплавившись, студенистое, отражалось в бегущей воде. По берегам, бурая от ягод, сплошными зарослями тянулась черемуха, и только кое-где прорывали заросли широкие, с высокой травой по краям, тропы. Вдали, вправо, ждущие хозяйской руки стоят луга; за лугами лес. В этом лесу, когда косят в лугах траву, хорошо прятаться днем от нестерпимо жаркого солнца...

Так сидишь час, два, три... и вдруг все увидится простым, легким, не имеющим особого значения... Удивлялась теперь и Маша, отчего так серьезно восприняла все. Ведь ничего, абсолютно ничего не случилось. Просто даже смешно и стыдно, что она вела себя, как девчонка, расплакалась, сбежала... По-другому представляла она и Григория Ивановича. Вспомнила его растерянным, с потешной гримасой на лице, длинным и сторбившимся, с протянутой вперед рукой, и улыбнулась, сначала робко, но тут же осмелела и даже легонько прыснула. Потом радостно и легко рассмеялась. Ей теперь весело было представлять Григория Ивановича. Кроме того – какая-то новая, жгучая мысль неожиданно поразила ее. Маша смеялась над Григорием Ивановичем, потому что, правда, смешон и несуразен он был, но ведь... Но ведь это из-за нее он был такой! Может, она особенная какая-то, красивая?.. Почему же такая мысль ни разу не приходила ей в голову... ведь если не так, разве таким увидела бы она Григория Ивановича? Радость, что она может с такой силой волновать, поражать кого-то, такая радость стала ей доступна впервые. И теперь, ранее ругавшая и презиравшая себя, она все это забыла... как будто ничего и не было... не презирала, не ругала и Григория Ивановича, а начала вспоминать, как впервые увидела его, длинного, нескладного, как он напугал ее, как она смущалась, как за шутками и легким словом ощущала всегда пристальный и внимательный его взгляд... Когда он рассказывал, как воевал и ходил в разведку, ей страшно было и интересно, она боялась, что ведь его могли убить, а он так со смехом и улыбкой обо всем говорил. Иногда на особенно напряженном месте он вдруг смотрел Маше в глаза – и тогда ей было приятно, что именно ей, в такой момент, посмотрел он в глаза, как-то выделил ее. И радовалась она, что он, такой большой, взрослый, воевавший на фронтах бесстрашный мужчина, вспоминает о ней и как будто

– зачем? в чем? – подбадривает ее. Сейчас она нашла в этом нечто другое – и вновь сделалось беспокойно и сладко в груди... Потом, когда он вернулся с рыбалки, она заметила, каким счастливым, чуть-чуть утихим, но все таким же веселым был он. На рыбалке, видно, отдохнул всей душой, много передумал, перечувствовал, и она, понявшая это, не увидела, – а теперь только видит! – что и к ней он отнесся как-то по-другому... Потом этот случай с ширмой... это ужасно, ужасно произошло, но все же... Она уже не корила себя. Она вспомнила, сколько раз на берегу Северушки видала голых мальчишек – и ничего! Такие же, обыкновенные, не кусаются, даже смешно. Бегают по берегу, брызгаются, ныряют, – им хорошо, светит им солнце. А ей, когда она смотрит на них, и в голову не приходит стыдиться, все это естественно...

Когда уже солнце пропало, когда потянуло с воды прохладой, когда синь вокруг начала густеть и Маша плохо видела то, на что бессознательно, но напряженно смотрела, тогда она и очнулась. Очнулась... и ахнула! Уже так поздно, сколько она, дуручка, просидела здесь, а ее, может, ищут, волнуются из-за нее, переполох какой-нибудь устроили. Да мало ли что... Быстро поднялась – и бегом, через кусты, прямой дорогой домой...

Но никто, когда пришла домой, не ждал ее там, никого и не было. Погрустив отчего-то, она неожиданно почувствовала, как устала за день. Не думая, не вспоминая больше ничего, она постелила себе на ночь, медленно, сонно разделась и легла в постель. Простыни были свежие, прохладные – и, жаркая, грустная, счастливая, Маша через минуту заснула крепким сном.

Григорий проснулся и не сразу понял, где он. Рядом завывал ветер, скрипела где-то незапертая калитка, – а здесь было тепло, тихо и нестерпимо пахло сеном. Сено... Григорий вспомнил, что он на сеновале, куда пришел с вечера: уйти от всех, от всего...

Он поднялся с сена, отряхнулся и, открыв ставню сеновала, посмотрел кругом... Такая же, как вчера, была ночь, с луной и звездами, только не деревья, не костер, не речка рядом, а дома, дома, дома... Нигде, ни в одном из них, не мигнет огонька, спят уже давным-давно все. Григорий задрал голову, с сеновала это было не очень удобно, и, глядя на звезды, на Млечный путь, спросил: «Ну – что?..» Никто ничего ему не ответил, только собственный вопрос и был ему ответом. Он не стал думать, что было сегодня, а вспомнил вчерашнюю ночь, когда он, сидя около речки, глубоко вдыхая ночные запахи, ощущал счастье и одновременно грусть. Сегодня было иное, иная ночь, но и счастье, и грусть остались те же, а человек, с которым вчера он хотел бы – с полной радостью – посидеть, поговорить и сказать ему все, этот человек спал нынче рядом, в доме... Но дома ли она? Он не почувствовал в своем вопросе беспокойства, тревоги, а лишь запрятанную, подспудную боязнь – что нет, может, и не дома. Только вряд ли, вряд ли не дома... Он думал об этом совсем недолго – и решил, что к Ивану пойти она никак не могла, потому что...

Да что ему за дело? Пусть даже и дома, спокойно спит – ему-то что?.. По лестнице он спустился с сеновала вниз, но куда идти?.. Он подошел к двери дома и дернул ее – она не открылась. «Закрyla? Впрочем, почему нет?..» Он очень обиделся. «Ладно, дверь – это черт с ним: дверь – это ничего, только ведь она, значит, боится меня... А чего меня бояться?

Что плохого могу я сделать?..» Он подошел к воротам и, упираясь ногой в чурбак, правой ступил на забор.

По воротам Григорий забрался на крышу, а с крыши на чердак. С чердака в кладовку вела лестница... Этим путем он не однажды в детстве и убегал из дому и возвращался домой, даже был порот отцом не раз: «Еще упадешь, мерзавец! Хорони потом тебя!» – но все равно не слушался и продолжал, когда нужно было, делать по-своему... В кладовке приятно пахло знакомым старым миром – пропыленными дряхлыми шубами, кожей, мукой, инструментом, керосином, пухом, перьями, да мало ли еще чем!.. Григорий задержался в кладовке, постоял, но глаза так и не привыкли к темноте. Он вышел... «Как давно все было: детство, игры, школа... А если и было, то словно не со мной...»

В два окна в избе светила луна, лунный туман освещал вещи. Казалось, теперь, ночью, в их неподвижности есть не то загадка, не то тайна, и даже больше – будто каждая вещь жила своей жизнью и могла теперь, как живая, вскрикнуть. Ночь изменяла мир до неузнаваемости, наделяла его чем-то таким, чего в нем на самом деле не было. Григорий вздохнул...

В углу на кровати спокойно спала Маша. Григорий издали смотрел на нее, верней – туда, где она спала, и ощущал, что там неприкосновенное и чужое бьется сердце. Но видел он плохо. Тихо и осторожно подошел он к постели – и замер. Ничего лучше не видел он во всю жизнь, в то же время – ничего проще. Спокойное детское лицо дышало под лунным светом равномерно и глубоко, бесцветные, казалось, волосы обрамляя лицо, были свободны и раскиданы по подушке, левую ладошку, как маленькая, Маша уложила под щеку – и спала, как ребенок, так сладко, что серебрилась в темноте ниточка слюны...

Григорий стоял над Машей и долго, пристально рассматривал ее лицо. Когда она, причмокивая, шевелила губами или же удивленно – почему? – поднимала бровь, он вздрагивал, пугался. Разглядывая Машу, он понимал, что во многих его чувствах опять повинна ночь, и все-таки что-то особенное, неповторимое было в лице Маши, в бретельке ночной рубашки, слегка приоткрывавшей плечо...

«Надо уходить... Здесь нельзя...» – думал он, стоя рядом, но ни одна мышца не отвечала действием. Словно то, что он думал, это одно, а то, что делал и сделает, это другое. Но когда он думал, что пора идти, то действительно думал так, не лицемеря...

«Подойти сейчас, погладить ее... и уйти...»

Но он не подходил, а наоборот, пятился к окну, вовсе и не собираясь уходить. У окна, глядя в ночь, на луну, на силуэты в саду, он долго стоял недвижим и слушал, как стучит в груди сердце.

«Пойду я... совсем... тяжело...»

Но вместо этого он вновь стоял рядом с Машей, она во сне что-то шептала... «Кто я? Что мне нужно?...» – думал он. Он чувствовал, что уже не на лицо смотрит, но упорно на плечо. Оно открыто теперь больше – нежное, наверно, мягкое... Вспоминая, какую видел сегодня Машу, он представил теперь всю ее, спящую под одеялом...

Глубокая страсть проснулась в нем, он не чувствовал стыда, только необъяснимый страх. Она спала совсем близко, беззащитная... Словно и Маша что-то почувствовала, долго не было слышно ни вдоха, ни шепота ее сквозь сон. Проснулась ли она? Нет, нет, нет...

Иван спешил домой. В лесу для Маши он нарвал букетик земляники и по дороге, взглядывая на него, беспричинно радовался...

С этим букетиком, прежде чем заходить в дом, он, баловства ради, взобрался на завалинку и заглянул через стекло в комнату, где спала Маша. Тени сада падали на окно, и поначалу ничего в комнате не видел Иван, но, всмотревшись, он увидел вдруг то, отчего тихо-тихо, будто смерть пришла, стало в его душе. Он вгляделся пристальней, с болью чувствуя лбом стекло, и снова увидел то же: Маша спала не одна... Иван никак не мог разглядеть, кто был рядом. Что-то ему показалось знакомым, похожим на что-то и на кого-то... и когда он вдруг начал сознавать, кто же это был, то ноги сделались у него ватные, мягкие – и поползли с завалинки. Он упал на землю, рядом стояло ведро, оно зазвенело, забрякало и покатилося по саду...

Но Иван тут же очнулся, поднялся и стремительно пошел в дом.

Когда он влетел в комнату, где спала Маша, то остановился как вкопанный: она была одна. Спала она лицом к стене, отвернувшись от него, как всегда крепко.

Он подошел к ней, положил на грудь ладонь. Вся она, Маша, была напряжена, неестественна и слишком крепко спала.

Ему было восемнадцать почти лет...

Глава пятая

Свадьбу играли на ноябрьские...

Полетел, именно в этот день, в этот вечер, первый долгожданный снег. Парни с девчонками выскакивали из избы, подставляли снежинкам лица – снежинки таяли, по лицам растекалась влага. Веселые, молодые, были все счастливы: смеялись и кричали песни. По всей Красной Горке, до проходящих мимо поездов, разлеталось беззаботное веселье.

Жених и невеста занимали законные места, а вокруг рассаживались родня, друзья, подруги, знакомые.

Народ, встревоженный, завидуший, легкий на подъем, бесконечно кричал: «Горька! Горька-а!.. Го-орька-а!..», а молодежь, на потеху, кричала свое: «Сладка! Сладка-а!.. Сла-адка-а!..» Поначалу на них сердились, шикали, а потом пошли просить реже, тогда и молодежь подхватывала, и общий властный гром требовал подсластить горькущее вино.

Потом просили тостов, говорил один, второй, просили произнести какой-нибудь особенный, и кто-то произносил особенный.

Отец Славы, Григорий Иванович Никитушкин, уважаемый всеми человек, начальник паровозного депо, прослезившись, сказал:

– Гости дорогие! Пожелаем же еще раз молодым счастья, любви, согласия! Спасибо Надежде Тимофеевне за прекрасную дочь! Выпьем за нее, за ее дочь! Выпьем, чтоб Слава отслужил побыстрей и возвращался к молодой жене!..

Седые волосы Григория Ивановича рассыпались на две стороны.

– Выпьем за полное их счастье!

– Мы-то выпьем!.. – закричали вокруг. – Но и ты, Иваныч, и ты давай с нами!

– Шут с вами! – Григорий Иванович поднял рюмку и, хотя врачами запрещено пить совершенно, выпил за молодое счастье.

– Во! Молодец, Иваныч!.. Не слушай никого: много пьешь – долго живешь! – подбадривали со всех сторон, а он всего с нескольких выпитых рюмок был уже хмелен, счастлив.

Он мог быть сегодня счастлив. Один, вот уже двенадцать лет, растил сына и вырастил человеком не хуже других. Обидно, что нет с ним сегодня Лены, жены; и девочка не выжила, и жена умерла от родов... А все не верится, что умерла; кажется, вот-вот откроется дверь, она войдет и спросит: «Что, не ждали? Ах, вы, милые мои! Здравствуйте же!..» Но ничего этого, конечно, не будет. Никогда. Григорий Иванович задумался, взгрустнул, но тут же опомнился – нашел время мрачнеть!

А большое сердце стучало свою жизнь, сопротивлялось волнению, пыталось работать ровным точным механизмом. Но не получалось. Оно прыгало по сторонам, заваливалось, останавливалось, пропадало вовсе, а то вдруг концентрировало в себе всю боль, какая накопилась в организме, – и тогда существовало одно оно, само по себе, это худое сердце. Что же, он болен. Ничего не поделаешь...

Среди общего веселья Надежда Тимофеевна была единственным человеком с неопределенным отношением к свадьбе. Она то улыбалась рассеянно, глядя на дочь, которая напоминала ей ее молодость, хорошую чистую пору, то вдруг сжималась вся от тоски, горя ли, обиды.

Она не понимала дочери, – а той, кажется, и не нужно было ее понимание, – ни выбора ее, ни вкуса, ни вообще отношения к людям. Она пыталась объективно рассудить о Славе Никитушкине, будущей их семейной жизни – и, как ни билась, ничего хорошего не могла представить...

– А что-то заскучала, заскучала наша Надежда Тимофеевна! – Улыбаясь, к ней подсел Григорий Иванович. – Не хотите ли подышать свежим воздухом?

Надежда Тимофеевна кивнула, улыбнулась в ответ. Накинув пуховую шаль на плечи, вышла за Григорием Ивановичем на улицу.

Не падал уже снег, успокоилась природа вокруг, и нежным, мягким покрывалом расстился по земле синеватый в темноте снег.

Долго стояли и, не говоря ни слова, глядели каждый в свою сторону, слушали редкие посторонние звуки.

– Все же согласитесь – это смешно. Нелепо!.. – сказала Надежда Тимофеевна.

– Что?

– Как что? Жениться перед самой армией!

– Пускай живут как хотят. Я сам не понимаю их, но не осуждаю.

– Странно вы рассуждаете: сами... не осуждаю... Как будто вам все равно!

– Наде-е-ежда Тимофеевна!

Надежда Тимофеевна замолчала, но продолжала думать по-своему. Ну, хорошо, соглашалась она, пускай внешность сама по себе ничего не значит, допустим, что ничего. Но ведь если бы Слава был умен, добр, чем-то отличался от других, а то, как вся современная молодежь, самоуверен, ничего ему не нужно – и этим же всем бахвалится! Тоже нашелся «герой нашего времени»! Год как закончил школу, а вовсю уже пьет, курит, дерется. А Лия... ее Лия! Нежная, славная, добрая девочка – и вдруг как дурочка бежит за этими «расклешенными штанами», кривляется. Но ты ничего ей не скажи: она сама не маленькая, все понимает, видите ли, в людях не хуже других разбирается, на жизнь себе зарабатывает – и оставьте ее в покое. Ни уважения, ни послушания...

– Пойдемте-ка, Надежда Тимофеевна, в дом. В до-о-ом... – Григорий Иванович сказал это тоном, каким взрослые выводят детей из состояния задумчивости.

– Пойдемте, – согласилась она.

В доме она отыскивала глазами того, за кем тайно сегодня следила. Это был Коля Смагин. Он сидел в самом углу, «поздравлял» себя и пил отвратительную для него, непривычную водку. Жил Коля в том же поселке, что и Лия с Надеждой Тимофеевной, в тринадцати километрах от Красной Горки, учился когда-то в одной школе с Лией, а общей для них учительницей истории была некогда Надежда Тимофеевна Захарова. С детства Коля держался от всех в стороне, был рассеян, вспыльчив и чрезвычайно сообразительный. Годам к 15 он выработал для себя нечто вроде нравственного кодекса – и придерживался его строго. Добровольное отчуждение от друзей, товарищей помогало ему многое видеть глубже, зорче, развивало способность мыслить по-своему. Привычка самоанализа делала его сильным в самом себе, но непостижимо слабым и хрупким в отношениях с людьми. Людей – друзей, товарищей, взрослых – он знал плохо, относился к ним даже со страхом, будто могут у него отобрать что-то, без чего не быть ему уже Колей Смагиным. И вот – первой любовью он полюбил Лию. Она смеялась над ним, подшучивала, подтрунивала, но притягивала к себе еще сильнее. Она – это тоже большой, сложный мир; изучение внешнего мира началось у Коли с изучения внутреннего мира другого человека...

Надежда Тимофеевна думала... Думала, что для Лии не было бы лучше мужа, чем Коля Смагин. После школы уехал в Ленинград, поступил в политехнический институт, теперь уже на третьем курсе... Не чета нынешним: умен, образован, целеустремлен, добр, нежен, потому что застенчив. Жене будет предан: честные перед собой люди не способны на измену – самоанализ доводит их до страшных мучений совести. Какого лучше человека можно еще любить? Кому с большей уверенностью можно вручить свою жизнь? Лия не поняла этого, почему-то вдруг порвала с Колей...

А Лия, счастливая, сидела рядом со Славой. Никогда раньше она не думала, что счастье возможно таким – глубоким, не проходящим ни на секунду. Теперь она не сомневалась ни минуты, что и вся жизнь будет такой...

Да и что плохое может случиться? – даже и представить ничего нельзя. Муж ее – Боже мой, шептала она, слово-то какое – муж! – был замечательным, добрым, хорошим – как раньше она так долго этого не замечала? Почему не любила его? Почему часто была с ним жестока, несправедливо смеялась над ним – нет, никогда, никогда, никогда не простит себе этого! Теперь всегда она будет только ласкова, нежна, будет любить его, каким бы он ни был, у них будет семья, родится маленький ребеночек, – их ребеночек! – она вырастит его, выучит, воспитает, потом с мужем они состарятся, а он будет им благодарен за все... Когда она представляла все это, то от счастья зажимивала глаза, смеялась то громко, то тихо – и никто, никто, кажется, кроме Славы, не понимал ее... О, она будет ждать мужа сколько угодно – два, три, десять лет, сколько бы ни пришлось. Это будет ее первым, самым трудным и самым главным испытанием – и она его выдержит, ни разу не загрустит, не заплачет. Она готова на все, на любые испытания – и что ей не под силу? Ей все под силу. Думая так, она даже задыхалась от прилива нежности к Славе, к их будущему сыну, маленькому-маленькому человечку – они будут любить его, как никто и никогда не любил своих детей! Он вырастет большим человеком, будет каким-нибудь ученым, конструктором, космонавтом – или даже простым, но все-таки необыкновенным человеком. Обязательно необыкновенным! Этой радостью, что сын будет таким, она хотела непременно поделиться со Славой – и взглядывала на него так, чтобы он все понял, – и он, казалось ей, все, все понимал, ее Слава... Стыдясь себя самой, она незаметно брала Слаvinу ладонь в свою, нежно гладила, краснея. Он улыбался ей и шептал: «Ну, что ты, Лия, что ты...» Да, он уйдет в армию, на два года, всего на два года – пусть! Раз судьбе угодно испытать их любовь, их семью – они не могут быть против. Даже наоборот – они начнут с трудностей, и тогда никакие трудности впереди уже не страшны им. А теперь – она не будет думать об этом, у них есть еще целых два – вечных два – дня...

Со всеми вместе – гостями, друзьями, родными – Лия как будто действительно не хотела думать, что в этой свадьбе есть все-таки что-то горькое... Это разлука. Но все это если и помнилось, Лией, например, то даже не с грустью, а с верой в большой смысл разлуки.

– Слава, милый, – говорила она ему.

– Ну...

– Правда, все у нас будет хорошо-хорошо? Ведь правда?

– Еще бы...

– Я никогда не буду тебя обижать. И ты меня не будешь. Правда?

– Ну... само собой...

– Я люблю тебя! – Когда она шептала это, то сидящие рядом, как ни тих был шепот, слышали его, переглядывались с улыбкой, и кто-нибудь вдруг начинал, а все подхватывали:

– Го-о-о-рька!.. Горька!..

Они поднимались из-за стола, он обнимал ее, и она, затаив дыхание, сгорая от стыда, подставляла Славе вздрагивающие губы...

Между тем время шло, и Лия чувствовала, что надвигается тайное, страшное, незнакомое... Все вместе это и было, отчего такая она сегодня счастливая, отчего день необыкновенный, отчего гости в доме, отчего слезы и радость... Когда Лия задумывалась над этим, мурашки пробегали у нее по коже, и она не понимала, какого чувства сейчас больше в душе – страха, отчаяния, любопытства, стыда, счастья?.. И чем больше она думала над этим, тем более становилась рассеянной, уставшей... Мама подошла, что-то говорит... О чем она? Ах, Боже мой – не слышу, ничего не слышу...

– Лиинька, девочка, ты совсем бледная... Что с тобой? Тебе плохо?..

– Что, мама?.. Нет, нет, это так... так...

– Нет, тебе плохо, кажется... Пойдем, выйдем...

– Ах, мама, Бога ради – ничего не надо... Не обижайся только.

Все проходит, Лия снова весела, радостна.

– Ой, Лийка! – загадочно шепчет подруга, пока нет Славы. – Как я тебе завидую, если б ты знала! Счастливая ты!..

– Ты ведь тоже выйдешь замуж, Томочка! И у тебя будет так же. Еще лучше!

– Правда?

– Конечно!

– Нет, у меня не будет так... ты красивая, тебя все любят – а на меня никто и не смотрит...

– Ах, глупая ты, Томочка. Разве в этом дело? Главное – чтобы любили. Кто-нибудь обязательно полюбит и тебя.

– Правда-а?.. – нерешительно, но с надеждой переспрашивает и уже как будто чувствует эту любовь Тома.

Лия кивает: да, да, Томочка, обязательно да!..

– А страшно? Очень страшно тебе, Лия?

– Чего страшно-то? – говорит Лия. – Нисколько. Ведь у нас как?

– Как?.. – едва слышно, взволнованно шепчет Тома.

Но тут как раз подходит Слава, и Тома, так и не услышав ответа, разочарованная исчезает.

А время идет... И тем, кто сам не понимает, начинают потихоньку объяснять: уже, мол, поздно, а жениху с невестой пора бай-бай... Кивали, завидовали, разводили руками. А выйдя, дышали ночным морозным воздухом и задумывались о смысле жизни, о том, как прожили или проживают собственную жизнь. И как бы ни жил хорошо, все равно позавидуешь чужому счастью, потому что оно молодое и первое...

Наконец, закрыв за собой дверь, в полной темноте комнаты остаются они вдвоем... Так они стоят долго, не шевелясь, боясь сделать вперед первый шаг. Неизведанное и страшное ждет их счастье. Им кажется, что все, кто был сегодня на свадьбе, теперь стоят по ту сторону двери и внимательно слушают, какова жизнь здесь, в комнате... Они молчат и не двигаются. Осторожно, чтобы ни шороха, ни звука, он берет в руки ее лицо и поднимает спекшиеся губы к своим. Тихие, послушные, испуганные эти губы, – что-то будет, Слава, спрашивают они. Сердце у Лии, кажется ей, колотится неправдоподобно громко, чтобы слышали, верно, за дверью и чтобы было ей стыдно. Пока еще Лия никак не может согласиться в себе, что они уже одни, действительно одни, и что все, кто был сегодня, были лишь для того в конечном счете, чтобы оставить их, счастливых счастливых, одних... Слава, целуя Лию, с нежностью слышит, как она устала, покорна, что вся она – его... Привыкшими к темноте глазами он видит, или ему кажется, что видит, в глазах Лии вопрос: что дальше, Слава? Скажи?

– Лия, – говорит он. – Я сейчас... Я скоро приду. – Он выходит.

Она остается одна. Ей становится вдруг легко-легко, почему-то чувствует она огромную благодарность к Славе. Отчего? Не знает. Теперь ничего не страшно, все правильно, все хорошо... Медленно она подходит к окну, открывает форточку. Холодный воздух толкнул ее в лицо – и она задышала свободно, счастливо. «Я, правда, счастливая?» – спросила. И ответила: «Правда». Сняла с головы фату, бросила на стул: «Пускай, теперь все равно. Я счастливая...» Постояв так, вдруг почувствовала, что вот-вот сойдет с ума. Теперь она уже не знала, что делать дальше – стоять ли, сесть, спать ли лечь, ждать? Она не двигалась. Так не двигалась минуту, две, три... – и вскоре продрогла и пришла в себя. Времени, видно, прошло уже так много, что луна спустилась с соседних высоких крыш и остановилась перед окном. Желтый полумрак наполнил комнату таинственными предметами, из которых главной была широкая, мягкая – Лия потрогала рукой – кровать.

«Спать...»

Раздевалась она ежась, быстро, чтобы вдруг Слава не зашел и не увидел ее. Вдруг задумалась, в чем остаться? В чем, она не знала, ей стало стыдно... Стыдно, что не знает и что думает так.

Она юркнула под одеяло, и сделалось тоскливо-тоскливо... Или она была ледышкой, или простыни настолько холодны – только тотчас, как у гуся, покрылась ее кожа пупырышками... «Форточку закрыла я? Да, я закрыла форточку». Вдруг ее начало трясти, но не от холода: от жара... Она чувствовала, что внутри все пылает, жжет, вскоре покрылась потом – и тотчас снова, как сосулька, стала холодна. «Боже мой, что это?.. И где Слава?..»

Когда времени прошло еще больше, чем в первый раз, и луна уже стояла полным кругом в окне, Лия начала беспокоиться всерьез: где Слава? Она теперь понимала, что он ей нужен, и оттого, что он нужен, не было совестно, как прежде, когда думала об этом. Ей, теперь уже его жене, было страшно одной в пустой комнате. Он должен быть рядом. Где он?..

Очень долго лежала Лия недвижимо. И когда вот-вот, казалось, начнет она думать о Славе что-то плохое – вдруг, наоборот, начинала думать с особенной нежностью... И правда, какая же она дуручка! Он стесняется ее, он просто-напросто боится ее, как и она его... Добрый и милый, он оставил ее одну, чтобы не ранить, не обидеть... А теперь, зная, что она уже в постели, ждет его, он, видимо, не решается открыть дверь и войти... О, чуткий, чуткий человек, мой Славик! Какая же я дуручка была, как плохо порой о нем думала!.. Она вспоминала, но теперь как будто совсем не о Славе, как не однажды, в каком-то исступлении, он пытался чего-то добиться от нее – она не давалась и не далась бы ни за что на свете. Почему?

Потому что, кроме вспыхнувшей злобы, ничего не чувствовала к нему. Теперь другое...

– Слава!.. – тихо, ласково позвала она и прислушалась к тишине: – Славик!..

И, словно в ответ, какой-то далекий – во дворе, кажется, – послышался шум. Какие-то крики, кто-то что-то требовал, кто-то не соглашался, голоса были как будто знакомые и в то же время чужие...

– Слава!.. – снова позвала она, надеясь, что он рядом.

Но Славы не было, и вскоре прежняя тишина, потому что и во дворе все смолкло, установилась вокруг. Лии по-настоящему сделалось страшно и дико. Теперь она уже не верила ни разуму, ни чувству – один страх, что что-то плохое все-таки случается с ней, и был ее состоянием. Чего и за что она боится? В эту ночь, самую счастливую, она не должна бояться того, чего боится, – одиночества... Даже если Слава стесняется, все равно должен быть рядом, потому что иное просто оскорбительно.

И все-таки, думая так, она думала как будто понарошку: лишь для того только, чтобы он вдруг вошел – и все бы, все сомнения и чушь, разлетелось прочь. Она как бы играла сама с собой, не веря пока себе, не воспринимая всерьез свои же укоры...

Сколько прошло времени? Ей думалось, что вечность...

...Она вздрогнула, когда дверь вдруг распахнулась, и в проеме, почувствовала она, оставившись Слава. И по тому, как стоял он, по-хозяйски долго ничего не предпринимая, как дышал, как глядел на нее (и это она чувствовала), она поняла, что он пьян.

– Лия...

Он хотел что-то сказать, но язык не слушался его, и так он ничего и не сказал.

Он подошел к постели и хотел погладить Лиину голову – но промахнулся и что-то промычал.

Потом он присел на стул, посидел немного, хотел покурить, но ни папирос, ни спичек достать из кармана не смог. Тогда он опустил на колени, правой рукой пошарил по полу – половик был на месте. Он лег на половик, сначала на правый бок, так показалось неудобно, лег на спину, руки разбросав по сторонам. Через минуту он уже спал...

И поезд, который увозил Славу Никитушкина в армию через день после свадьбы, увозил его тоже хмельного. От хмеля

Славе не было ни грустно, ни тяжело, он ехал куда-то в неизвестное, неиспытанное – это ему нравилось. Добрыми, любящими всех глазами он глядел на родных и друзей, которые оста-

ваясь на станции, превращались все более и более в едва различимых людей. Но одного человека, уже далеко от станции, Слава долго еще видел и махал на прощание рукой – жену Лию. Он был рад, что все произошло так, как должно было произойти. Он не тронул ее. «Никуда, – думал он, – теперь не денешься, милая. Ждать придется... Даже и захочешь изменить – не сможешь... не-ет... Я хитрый...»

Вскоре никого уже не различить было вдали, и, махнув в последний раз рукой, Слава Никитушкин пошел в вагон.

Глава шестая

Умирала под Челябинском, в пятьдесят пятом году, мать Григория и Ивана тяжело. Брызнет весеннее тепло в окно – а Манефа Александровна к теплу безучастна.

Внук Сережа подойдет, подергает одеяло – а она скажет: «Сережа, ты уйди...» Раньше всегда гладила его и улыбалась.

В то время, когда она умирала, ни дочери Ольги, ни зятя, ни внучат Сережи с Ниной, – никого рядом не оказалось, кроме подруги, старухи Макаровны. Эта маленькая, опрятная Макаровна всю жизнь боялась смертей, махала на человека руками, когда тот собирался помирать. Замахала и теперь. Но Манефа Александровна была серьезна, строга, и шутики, что, мол, брось, девонька, не горячись помирать, не раз еще в лесок пойдем, грибков пособираем, не проходили. Манефа Александровна говорила скороговоркой, задыхаясь, и старуха Макаровна поняла, что уходить из мира ей тяжело.

– Злодейка я, – говорила тихо Манефа Александровна. – Господи, злодейка... Зачем, Господи, заставил родить врагов? На што надо было? Господи, Господи...

Макаровна не понимала смысла слов. Винила себя Манефа Александровна, но в чем? Слова были общие, на самом интересном обрывались. «Нешто можно так помирать? – охала про себя Макаровна. – Век живу, все чинно, благородно отходят...»

– Ты не бредишь ли, милая? Манефонька?..

Ничего не слышалось в ответ. Только одно: злодейка... зачем... простите...

Последние слова ее были:

– На тебя надеюсь, Ольга... Оленька... на тебя... надею...

Макаровна тихо заплакала.

Все три дня, до самого погребения, старуха Макаровна пересказывала, в основном для Ольги, что говорилось на прощанье матерью. Рассказывая, она пытливо заглядывала в глаза, чтобы подсмотреть в них правду. Она делала это так добросовестно, что Ольга на третий день не выдержала и сказала мужу:

– Сил моих больше нет! Хоть бы ты, Николай, приструнил ее...

Николай Степанович был тихим, скромным, впечатлительным человеком, тем страшней показался Макаровне его надтреснутый голос:

– Послушайте! Если вы не прекратите эти штучки, я... я... – Он не сумел договорить.

Похоронили Манефу Александровну на тихом кладбище, под сосной, где она и хотела лежать. Погода стояла теплая, солнце вовсю наступало на зиму, снег чернел, таял, а кое-где, как вот здесь, под сосной, коричневая уже виднелась земля. Быть скоро настоящему теплу, соки пойдут питать жизнь...

Поминали покойницу скромно, как и просила она; из знакомых были Макаровна, соседи Евсейка Ким и его жена Нина, которых любила умершая за доброту и согласие в семье, дед Семен, без него не обходились вообще ни одни похороны, такой он был человек, да еще двое-трое, а там все родные, дочь Ольга, сыновья Иван и Григорий, зять Николай Степанович, ребята Сережа и Нина – дети Ольги и Николая.

Ольга плакала... Поплавав, она наливала всем и просила выпить, не обижать маму, Манефу Александровну... Все пили и молчали. Иногда кто-нибудь, например дед Семен, говорил:

– Да, хороший Александровна была человек... справедливый... Пухом ей будь земля! Все соглашались.

Печально, тихо, с участием к покойнице поминали люди Манефу Александровну.

И только двух братьев, казалось, если и не обходило горе стороной, то было для них как будто ненужным, некстати свалившимся на их головы. Словно они обижались на мать, что вот взяла и умерла, не спросив их, хотят ли они встречаться на ее похоронах, хотят ли вместе провожать мать в последний путь...

С болью следила Ольга за братьями. Что ждать от них? Как пожмут друг другу руки? – этого не сделали; как скажут хоть что-то друг другу? – нет, не сказали, сумели как-то за все три дня не сказать ни слова, ни полслова.

А мать надеялась на нее, на Ольгу. Нет, конечно, не на Ольгу она надеялась, она надеялась на свою смерть. Думала, что хоть смерть матери потрясет сыновей, сблизит, сметет между ними все.

Она надеялась с тех пор, как почувствовала, что между сыновьями что-то неладно. Когда же узналась правда, то обе они, мать и дочь, пришли в ужас. Как, думали они, как могли братья, родные братья, из-за какой-то!.. – здесь они слов не находили – порвать друг с другом навсегда?! Раз жена изменяет, такую жену не то что гнать в три шеи нужно, а убить мало!.. И что же?! А ничего: как был Ванька слюняем, так им и остался. Вместо того, чтобы с жены спросить, чтобы в ней увидеть корень зла, он брата обвинил, с братом порвал. Да что он, не понимает, что брат на свете у него один – был, есть и всегда будет, – а женщин-жен может быть множество, выбирай любую! Что бы ни случилось – брат есть брат, а жена может стать и бывшей женой...

Так думали они и так говорили ему, но он молчал.

В 49-м умер отец, Иван Федорович Никитушкин. Это была первая серьезная надежда Манефы Александровны помирить братьев, но надежда эта провалилась. Да еще с треском. После похорон Иван ночью поднял на ноги весь дом, наставил на брата ружье. Закричала Маша, но Иван все же выстрелил. Осечка...

Это были не похороны, а что-то дикое. Растравили Ивана донельзя. Мать и Ольга в один голос говорили страшные слова: «Помиришь, Иван. Смерти отца побойся! Не оскорбляй его! Помиришь! Иначе отец не простит! Совесть тебя замучит! Помиришь, бессовестный ты человек!...»

И где, где это они говорили?! В доме, где до сих пор живет он с Машей, которую простил, с которой, после единственного раза, никогда об этом не говорил и не заговорит вновь – бессмысленно, бессмысленно теперь!

И вот прошло шесть лет, умерла мать. Она бы отдала жизнь, чтобы помирить сыновей: но жизнь ее оказалась меньше и незначительней того, что лежало между братьями. Может, смерть будет больше и значительней? Может быть. Она надеялась...

И снова, нет-нет, да кто-нибудь скажет:

– Добрый она была человек, Манефа Александровна... Никого никогда не обидит, всем ласковое слово скажет... да-а...

И в горькой тишине слышалось согласие. В углу ровным желтым пламенем горела лампадка, и взгляд Спаса исходил нежный, прощающий все...

– Давайте помянем старушку!..

Поднимались стаканы. Вместе со всеми как будто сидела за столом и Манефа Александровна; для нее – вино и закуска – стояли отдельно, на подоконнике, там простоит вино до

девятого и, пожалуй, до сорокового дня, когда вновь, по обычаю, вспомнят старушку, сходят к ней на кладбище, положат свежих цветов или пихтовых лап с дурманящим запахом...

Ольга, плача, подходила то к братьям, обнимая их, легонько раскачивалась и причитала, то к Кимам, то к деду Семену, и всем было видно, какая за полными слез глазами таилась в душе ее боль. «Ой, родимые мои, ласковые... да остались мы теперь одни, сиротинушки... нет у нас – ни матушки, ни папушки... всех взяла себе сыра земля... Да зачем же оставила ты нас, мамушка... с кем теперь посидеть, поговорить и поплакать... от кого услышать теперь ласковое словечко... Горе, горе, зачем, откуда пришло ты к нам... что тебе сделали... Да нашто не обошло стороной родимую нашу маменьку, нашто... Ох, горе, горе нам... детушкам... Ты прости, прости нас всех, матушка... если были когда недобры, неласковы... Прости...»

Поплавав, Ольга уходила в другую комнату – отдыхать от горя; Нина Ким шла следом и в комнате ласково говорила: «Не надо, Олюшка, не надо больше плакать, золотко... Теперь уже не поможешь, не вернешь мамочку, а померла она чисто, хорошо, своею смертью, как все добрые люди... Теперь и плакать нельзя, нужно гостей угощать, ласковое слово про маму рассказать, не надо плакать, золотко... Успокойся, милая...»

Николай Степанович все больше разговаривал с Григорием, расспрашивал, как жизнь, жена, сын Славик и сколько ему теперь?.. И, кроме этого, ничего другого спросить не приходило Николаю Степановичу в голову. Работал он бухгалтером на заводе, работа чистая, серьезная, ответственная, с ней Николай Степанович справлялся. Была у него жена, двое детишек – Сережа и Ниночка, их он любил тихо и ласково. Но у жены большая родня, и в этой родне творилось черт знает что... За одно это невзлюбил он всех Никитушкиных разом и находил удовлетворение лишь в том, что хоть жена его теперь не Никитушкина, а Иванова. Для Николая Степановича было пыткой не только разговаривать с Григорием, а еще и самому разговор вести. Григорий часто отвечал невпопад, переспрашивал и, казалось, вообще ни на кого не обращал внимания, сидел сосредоточенный и угрюмый, словно на что-то решаясь... Шел ему уже четвертый десяток, посеребрило виски, и нос, такой воинственный и решительный прежде, как будто немного увял. Оставался, правда, Григорий все таким же худым, с длинными, девать некуда, руками, воинственным, широким, чуть с хроминкой, шагом... Изредка Григорий взглядывал на Ивана, но никогда не встречал его глаз.

А Иван, в двадцать семь своих лет, густо оброс бородой и ни одной чертой не был похож на себя прежнего. Крепкая, недюжинная сидела в нем сила, он набрался ее в лесу, на Высоком Столбу; надолго уходил он порой в дебри, пулял из ружья. В этом одиночестве он выискивал сначала успокоение, потом прелесть. Кто бы ни встречал Ивана, никогда не верил в его молодость: он скорее был старик с молодыми, умными глазами, которому когда-то – давным-давно, казалось, – очень не повезло. Разговаривал он медленно, каждое слово обдумывал, взвешивал, точно старик, прикладывая к нему другое слово осторожно, и предложения выходили короткие, строгие, но естественные и незрешные. Каждый, кто бы ни разговаривал с Иваном, проникался к нему внутренней симпатией. Особенно любили его дети, свой ли Женька, или чужие, к примеру Ольгины, ребятишки. Манера обращаться с ними была у него поразительная: он, объясняясь с детьми руками, жестами, глазами, кивками, вздохами или улыбкой, почти вовсе не разговаривал словами, причем не просто не разговаривал, а как будто вообще не обращал на ребятишек внимания. Сережа подойдет, что-то лопочет, на колени к дяде Ване карабкается, а тот, улыбаясь в бороду, ласково отпихивает племянника, подножку ему подставит, подмигнет, и Сережка заливается, бывало, восторженным смехом. Когда умерла бабушка, ни Сережа, ни Нина не шли ни к кому, кроме дяди Вани. Они даже совсем не отходили от него, посматривали жалобными, испуганными глазенками – они очень любили бабушку, а теперь где она? куда уехала? надолго? Раз умерла – то уехала, значит, навсегда? Но дядя Ваня молчал, гладил их по головкам, и по тому, что дядя Ваня ни разу не улыбнулся, не играл с ними, как обычно,

они понимали, что теперь такое время, какого никогда не было, и не отходили от дяди Вани: в такие минуты с ним лучше всех, спокойней...

Иногда Иван вставал и уходил туда, где была Ольга, садился рядом и, ничего не говоря, успокаивал ее этим, но и терзал одновременно. Что-нибудь Ольга спрашивала, он отвечал; сам никогда ни о чем не спросит. В его молчании было какое-то превосходство над всеми, но доброе, без надрыва превосходство, каждый это понимал. В плохие минуты она забывала об этом, называла его слюнтяем, тряпкой, бабой... он молчал. Редко в словах видел Иван истину, с годами все больше начал он понимать, что не в них зерно. Мало сказать «люблю», «ненавижу», «хочу», «уважаю»... это даже вообще ничего не сказать; нужно жить так, чтобы истина говорила не словами, а через дело, через совершённое человеческое добро.

...К ночи начали расходиться. Первым ушел дед Семен, потом Макаровна, а там и Евсейка Ким с женой. Уходили до свидания, вероятно, до завтрашнего...

Ольга с Николаем Степановичем провожали, благодарили за помощь, участие, за то, что не забыли, пришли и проводили маму в последний путь, помянули добрым словом...

В доме, уж так получилось, остались лишь братья; против каждого стояла водка. Не сговариваясь, они выпили по стакану, и время потянулось... Каждый понимал, что сидеть вдвоем невозможно, нужно встать и уйти. Но как, кому это сделать? Кто бы ни поднялся первым, тот и скажет, что все кончено, теперь уже навсегда. Ни один из них не мог встать первым, потому что, несмотря ни на что, любили они друг друга крепко, и в последний раз признаться во взаимной и глубокой вражде никто не хотел первым.

Ольга ни сама не входила, ни детей с мужем не пускала в дом; пусть посидят Иван да Григорий, быть может, что-то прорвется в них, выйдет гной – и вновь станут они, как прежде, родными, незаменимыми друг для друга людьми. Братьями.

Время шло...

Когда бы ни начинал думать о случившемся, восемь ли, пять или два года назад, всегда приходил Иван к одному: происшедшее не имело отношения ко времени, оно существовало само по себе. Еще мог спокойно сказать себе: да, это было, ничего теперь не изменишь, но как только воображение брало верх, так Бог один знает, что творилось в его душе... Он не хотел, он боролся с собой, до отчаяния ненавидел себя, но воображение вело его своей дорогой. Он пытался думать о постороннем, причем о постороннем серьезном, и додумывался иногда до удивительных открытий, а сердце в это время, в плену у воображения, разрывалось на части. Сердце представляло, как Маша и Григорий разговаривают, смеются, даже целуются... все это оно выдерживало. Но сердцу нужно было воображать дальше... и что могло оно вообразить? Оно переключалось на самого Ивана и Машу, как это было и есть у них, это необычайно интимное, тайное, невозможное для понимания других, ни у каких других людей такого не могло и не может быть... Он вспоминал мельчайшие детали, как она целует, как дышит, как любит, все это было только его, только для него... ни с кем другим, хорошим ли, плохим ли, добрым или злым, невозможна эта тайна, потому что она принадлежала только им. И вдруг – он должен представить, какой она была, была действительно с другим, он должен был представить, потому что это была правда. Но как представить? Представить ли, что руки ее были те же, самые те, нежные, мягкие, ласковые, что и с ним? Представить ли, что так же, как с ним, она лежала счастливая, с закрытыми глазами, потерянная?... Представить ли, что точно так же, как с ним, она разговаривала после всего, говорила о счастье, или же тихо, молча отдыхала?... Представить ли сердцу все это? Нет, сердце не могло представить, это было невозможно. Невозможно вообразить, чтобы человек, которого любишь и который любит, был с другим тем же, что и с тобой. Но каким же он мог быть, если не таким? Разве у всех людей это не одинаково? Разве все испытывают не те же чувства, радости? Да, это правда: это, верно, у всех одинаково, но... И снова, раз пришло к этому выводу, сердце должно было представить все – но как только

подбиралось оно к этому, лишь только, безумное, начинало воображать, даже не начинало – а лишь пыталось начать, так в глазах темнело, ничего, кроме этой тьмы, не было в них. Сердце же в груди начинало так прыгать, как даже не верилось, что могло оно прыгать...

В 45-м Иван сказал себе: брата из жизни вон; это решение было слепым от боли. Жену он простил, брата нет. Почему?

Он думал, кажется, об этом не переставая. Он представлял, что, если бы он простил обоих, жизнь, вероятно, не была бы такой тяжелой. Но он не хотел этого. Да и что могло остановить Григория и Машу продолжать начатое? Совесть? Но ее у них не было. Он твердо, после всего передуманного, верил в это, потому что именно совести не было у них в тот первый раз. Любовь к нему? Но разве не любя единственного брата, Ивана, предавал его Григорий, и разве не любя его, мужа, изменила ему навсегда Маша? Нет, в них верить было нельзя, в обоих; ничто, никакая сила не может заставить предателя снова стать честным человеком: раз предавший, предаст во второй раз, потому что сила не предавать нужна именно в первый, а не во второй, не в третий раз. Тогда почему, не простив брата, он простил жену? Он не знал этого, но предчувствовал, что простил и не простил правильно. Маша была единственным человеком, без которого он не мог уже жить: он любил ее больше правды их отношений. Он простил жену не потому, что ее можно было простить, но потому, что иначе жить невозможно: и без нее невозможно, и не простив невозможно...

Он, конечно, не верил, будто Григорий взял ее силой. Какая-то искорка все время светила в нем, что случившееся не случайно, что неспроста произошло предательство. И когда глядел он на спящую Машу, на ее лицо, губы, закрытые глаза, ресницы, спокойный свежий румянец, то понимал, что все это ложь... ложь – такое в нем было ощущение, как ненависть! То, что, возможно, неспроста, что часть сердца Маша отдала Григорию искренне, еще более мучило Ивана...

Как сидели молча, так и продолжали сидеть; ни встать, уйти, ни быть вместе в одной комнате – они не могли, но первое, встать и уйти, требовало особенного усилия – на него не хватало мужества.

Много воды утекло, как жизнь разделила братьев, но в своем отношении к случившемуся Григорий оставался прежним; он понимал, что был виноват, но не казнил себя, потому что виноват был не в том, в чем осуждал его брат. Так думал он. Он думал и порой искренне спрашивал себя, что, если бы довелось вновь пережить минуты 45-го года: вот он приехал на родину, вот он с отцом, братом, Машей, а вот в лесу, на рыбалке, вот за ширмой он видит Машу, вот, когда полная луна и звезды светили вверх, он приходит к Маше, вот снова переживает все то, что пережил в доме, рядом со спящей женщиной... – довелись воскресить эти минуты, разве вновь не случилось бы того, что случилось?! Он отвечал: да, случилось бы! Никогда прежде и после не был он так счастлив, не испытывал тех чувств, того волнения, радости, какие пришлось испытать тогда. Он помнил, что был как во сне все то время, но какой это сон – страшный ли, злой ли, несправедливый или горький, – он не знал, кроме того, что он неповторим – ибо был истинным счастьем. Перед братом он виноват, но разве виноват он перед самим собой? Разве, как все люди, не имел права на счастье? И если счастье это, помимо воли его, разрушило жизнь других, – разве он виноват в этом? Перед братом он виноват лишь как перед братом, но не как перед человеком. Брат – человек, и он – человек, каждому в жизни своя судьба, и только чистая случайность построила короткое счастье Григория на несчастье именно Ивана, не другого человека. Будь то не брат, а другой – испытал ли хоть какие-то угрызения совести, хоть какую-то вину в душе? Никогда в жизни.

Часто удивлялся Григорий, как не понимал того же Иван. Конечно, он не мог и не может понять всего, потому что не все знает, но все-таки... Отчего, думая о себе, Маше, Иван думал

только хорошее или такое, что оправдывает и прощает их, а о брате никогда не подумает справедливо.

А может, он просто не знает, что то была любовь?

Когда он начинал думать так, то вина его исчезала совсем. Он начинал жалеть брата – и жалость эта, понимал он, была бы унижительной для Ивана. Григория поражала самоуверенность брата, дикая и нелепая его вера в нее, в Машу. Он боготворил Машу, он простил ее, но боготворил бы, простил бы он ее, знай всю правду? Вероятно, ему и в голову не приходило, что Маша сказала Григорию: «Люблю!» Она рассказала Григорию, что отец ее погиб на фронте в самом начале сорок четвертого года, после этого мать стала задумчивой, рассеянной, иногда даже заговаривалась... Кончилось все ужасно: однажды на заводе мать попала по рассеянности под дрезину, ей переломало все ребра, сплющило грудь... На третьи сутки жестоких мучений она умерла на глазах у дочери: Маша потеряла интерес к миру, осунулась, похудела, почти все время лежала в постели в холодном, голодном доме, безучастно глядя в одну точку... В это время – время ранней весны – к ней начал приходить мальчик Ваня, был добрый, ухаживал за ней... Домик Маши стоял на окраине поселка, недалеко от лесничества, и всякий раз Ваня обязательно приносил ей что-нибудь из еды. Особенно ей запомнились вечера, когда Ваня возвращался из леса то с глухарем, то с тетеркой, а то и просто с вальдшнепом, если охота не удавалась... Потом он подолгу сидел у печи, красные языки пламени мерцали на его бледном мальчишечьем лице, а в чугуне побулькивало варево...

Она ничего не хотела ни есть, ни пить, но он силой заставлял ее пить крепкий глухариный навар. Навар не нравился ей, казался горьким и непривычным на вкус... но если бы не эти бульоны, если бы не безмерная доброта Вани – разве бы она была сейчас жива? Он спас ее, а потом – и это вышло как-то само собой – взял в жены. Она не знала еще, что такое любовь, она думала, что благодарность, которую испытывала к мальчику, и есть любовь, и вышла за мальчика замуж. Но не только за доброту, как оказалось, любят человека. За что? Она не знала. Она только позже почувствовала, что полюбила по-настоящему Григория, враз. И все.

Вероятно, ни до чего другого Иван не додумался, кроме как представить, что Григорий взял ее силой. Если бы хоть каплю правды знал он! Если бы видел, как сама протянула к нему руки... потому что любила! Если бы мог он это представить! А если сказать ему? Вот сейчас? Если открыть ему глаза на правду?.. Нет, такого не мог сделать Григорий. Во что бы верил, чем бы жил, какой бы еще иллюзией питался этот его самоуверенный, любимый им брат? Какому бы человеку смог еще верить?..

Убить одним словом брата Григорий не мог. Пускай, решил он, Иван презирает меня, ненавидит, пускай простил жену, а его не простил, пускай живут они, в самом деле, счастливо, пусть все у них будет хорошо...

Правды он не скажет. Не скажет ее Ивану и жена: он погибнет тогда. Оба они знали об этом.

– Вот так, брат... – сказал, наконец, Григорий.

Много пробежало времени, а были сказаны всего лишь эти три слова.

Григорий налил себе водки и выпил.

Выпил, налив себе, и Иван. Но ничего не сказал. Сморщившись от боли и напряжения, собрав все силы, он вдруг резко поднялся с табуретки и вышел от брата навсегда, тихо закрыв за собой дверь.

Наутро сестра разбудила Ивана: «Вставай, Ваня, Ванечка, вставай...» Он проснулся и посмотрел на нее глазами, которых как будто и не закрывал во всю ночь.

– Гриша уезжает... пойдя, Ванечка, попрощайся...

Иван с отчаяния, что сестра так жестока и непонятлива, глубоко простонал: «Нет у меня брата! Не-ет!..»

И отвернулся к стене.

Глава седьмая

Слава уехал, и для Лии начались мучительные дни... Она ходила на работу, машинально принимала и отправляла телеграммы, за неделю похудела, глаза стали какие-то затуманенные, словно прикрытые маслянистой пленкой. Никто, правда, не обращал на это внимания, считали, что так и должно быть: она скучает, страдает, ей тяжело...

Она, действительно, страдала, было ей тяжело, но по мужу не скучала... Однажды вечером, вдруг проснувшись, она услышала в себе страстный протест против случившегося, против того, что замужем, что Слава ее муж, что она его жена... Она его ненавидела. Ненавидела так же глубоко теперь, как любила, казалось ей, в день свадьбы... О нет, она смогла бы ждать, она готова была ждать сколько угодно... но как любить, как ждать теперь? Как помнить его хорошим, добрым, любящим?..

Он оказался совсем не тот, совсем не тем... как же она заблуждалась! Не прошло и недели, как он уехал, а она, мучимая и многого не понимавшая до того, поняла: он ей не верил! Он не поверил ей с самого начала их общей жизни: он нарочно женился перед самым отъездом, чтобы, не трогая ее, знать и быть уверенным два года, что она его, только его – и ни за что не изменит ему. Измени она – и сразу будет ему известно. Сколько в этом холодного расчета, лицемерия, неверия в нее, в ее любовь, в ее способность ждать! – ужасалась она. Сколько эгоизма, жестокости, животного страха! Как собственность приобрел он ее, запер в доме на два года, чтобы потом, вернувшись, наверняка знать, что от собственности не убыло ни грамма, что собственность цела, невредима – можно пользоваться ею на полную катушку. Когда она думала, что именно такими, холодными, страшными были мысли мужа, когда он улыбался ей, когда целовал ее, когда говорил нежные, горячие слова, то все переворачивалось в ней, протестовало, кричало не своим голосом; хотелось исчезнуть с земли, не быть никогда – а между тем приходилось жить, потому что сил умереть в ней не было. А приходилось жить – приходилось и мучиться всем тем, чем мучилась, приходилось десятки раз на день проходить, как по раскаленным углям босыми ногами, по тем же самым мыслям, что были и тревожили день, два, три дня назад...

Не верил... Не верит... Не поверил! Но почему? За что? В чем виновна она? Какое преступление совершила, за что так жестоко, страшно ранил ее?... Нет, он не любит ее, не любил никогда... потому что, если бы любил, то верил бы безгранично...

Когда 13 ноября со свекром случился сердечный приступ и его тотчас положили в больницу, она почувствовала, оставшись одна в пустом огромном доме, странное облегчение... В последние дни, только потому, что он отец Славы, она возненавидела его так же искренне, как мужа. Григорий Иванович не понимал причины ее озлобленности, даже ненависти – а все это только-только после свадьбы, когда глядела она на всех, на него тоже, счастливыми, благодарными глазами, – не понимал и очень мучился. Сердце его сдавало не на шутку, а тут еще внезапная озлобленность Лии...

Но на первом же свидании, будто спохватившись, Лия нашла в себе нежность к Григорию Ивановичу, была с ним ласкова, добра – и глаза ее искренне светились тем же.

Женское чутье подсказало ей, что Григорий Иванович очень плох...

Зато с матерью дошло до скандала. Когда Надежда Тимофеевна приезжала из поселка на Красную Горку, так коса находила на камень.

– Ты стала просто невозможна! – не выдержала однажды мать.

– Зато вы все хороши! Да, да! – закричала Лия.

– Да что с тобой, маленькая? – Надежда Тимофеевна хотела еще что-то сказать, но Лия перебила:

– Не называй меня маленькой! Не называй, не называй!..

– Ну, знаешь ли! – рассердилась вдруг мать. – Это просто неприлично... какой-то глупый каприз взбалмошной девчонки! Тебе должно быть стыдно.

– А мне не стыдно! Знай – мне нисколько, ни капельки не стыдно!

– Извини меня... – дрогнувшим голосом сказала мать. – Но в тебе, кажется, совсем совести не осталось... – Надежда Тимофеевна вот-вот должна была заплакать... – А все это твой Слава, любимый твой муж, я уверена, не оправдывайся, не протестуй!.. Я говорила тебе, говорила!..

Жестче удара мать не могла и придумать для Лии. Лия задохнулась и испытала к матери острый приступ брезгливости, отвращения и вражды.

– Мама... – прошептала она, и слово это, сказанное странно-неопределенным тоном, повисло в воздухе. Лия закрыла лицо руками и под ладонками оно затряслось у нее тихо и иступленно; так не плакала она никогда – без слез. Они брызнули позже, побежали горячими струйками...

– Лиинька, – опомнилась мать. – Родная... девочка моя, прости меня... ради Бога...

Лия открыла лицо, поглядела через слезы на мать и, ничего не увидев, бросилась вон...

А в другое время она начинала вспоминать свадьбу, но видела и слышала как будто совсем другое, чем тогда. То, что раньше происходило незамеченным, едва услышанным, теперь вдруг приобретало значение, силу, важность. Ведь слышала она, в ту, первую ночь, слышала ведь какой-то шум во дворе, но совсем не придавала ему значения. А это, как рассказывали позже, Коля Смагин пришел и начал барабанить в дверь. Он был пьян. Он кричал: «Откройте, откройте же! Пустите меня!.. Что они делают, что делают! Пустите, я не хочу, не хочу! Я люблю ее, люблю! Пустите!..» Дверь ему открыли и начали успокаивать, стыдить, но он никого не хотел слушать и все повторял, вырываясь из дружеских рук: «Пустите, я люблю ее! Она знает... Пустите! Я пропал... что делают, Боже мой!..» В это время Слава Никитушкин сидел на веранде один, слышал все и пил водку – и как много уже времени назад хотелось ему встать, подойти и показать «хлюпику» кулак с фигой. Но он не вышел...

А успокоила тогда Колю Тома, они тоже когда-то вместе учились, ходили в школу и из школы. Коля относился к ней, как к другу, защищал ее, но чаще как раз защищала она его. Он слушался ее во всем, но – любя другую – был, конечно, жесток и несправедлив к ней. Все равно она любила его законченной, навсегда верной любовью...

Она-то и успокоила Колю, подошла откуда-то со стороны:

– Коля, не надо все это... пойдём...

– Томочка! – взмолился он. – Тома!

– Да, да... – говорила она ласково. – Зря, Коленька, это уже зря... поздно... ничего не поделаешь, Коленька. А так не надо... так не надо...

– Тома! – не соглашался, но уже подчинялся он. – Хотя ты скажи им, ты!..

– Да, да, Коленька, – говорила Тома. – Все правильно., здесь уже спят, отдыхают... и тебе пора спать... правда? Правда, миленький, правда...

Он кивал, протестуя в душе.

– Ну вот... вот и хорошо... пойдём, я провожу тебя, уложу спать. Пойдём, Коленька...

И так, постепенно, слово за словом, она успокоила его, увела от всех.

В эту ночь, так и не уйдя от него, она сделалась его навечно. Он пожалел ее – и принял, задыхаясь от жалости к самому себе, в свою жизнь...

А когда-то темными летними вечерами, взявшись за руки, Коля и Лия гуляли вместе. Пахло в полях мокрой травой, ромашками... Они нравились друг другу, чистая, еще детская радость переполняла их. Целоваться, кроме одного раза, они еще не целовались, а тот, первый раз – каким страшным и жгучим вспоминался тот первый раз! Он боялся, ему было стыдно

положить руку на ее плечо, обнять, стыдно любое, неизвестное еще прикосновение к ней... И все-таки, в тот вечер, он еще раз обнял ее – и вместо того, чтобы поцеловать нежно, осторожно, сделал нечаянно больно. Она не обиделась.

– Смешной какой ты, Коля! – засмеялась она. – Какой же ты смешной!..

Тогда, подождав немного, он решился снова – и снова она позволила целовать себя. Он не сказал тогда, что готов ради нее на все. Не успел...

Когда они подходили к поселку, вышел навстречу Слава Никитушкин с тремя парнями, которых Коля не знал.

– Вы тут разберитесь, – показал Славка на Колю. – А я пока с девушкой поговорю... – Он усмехнулся.

Трое встали напротив Коли и начали теснить его, а Слава Никитушкин остался с Лией, не пускал ее никуда, когда она порывалась оскорбиться и уйти.

– Но позвольте! – протестовал Коля, поправляя очки. – Как же так? Послушайте, вы же люди!..

Один из парней вытянул правый кулак из кармана и показал Коле плексигласовый кастет с острыми зубьями.

– Видишь это? – спросил он. – Вот тебе люди... – И уже зло добавил: – Давай катись отсюда, пока цел!..

Впервые в жизни Коля узнал, что такое настоящий страх. Это было односложное, унижающее чувство, оскорбляющее в человеке лучшее, искреннее, настоящее... И, однако, односложное чувство было сильнее всех других, с ним ни справиться, ни бороться Коля не мог. С одной стороны, он должен был броситься вперед, должен защищать Лию, несмотря ни на что, с другой – защищать ее он не мог, потому что все равно его избьют. Очень простая ситуация: или быть избитым и остаться ни с чем, или не быть избитым и тоже остаться ни с чем. Однако в первом случае он остался бы уважаем Лией, а во втором – а во втором случае за него рассуждал только страх. Страх говорил ему, что Лия должна, обязана все понимать, как должна и понять, что защитить ее он никак не может, потому что это бесполезно. Понимая это, она сама не захочет, чтобы он был за здорово живешь избит, а потому, даже если он не бросится вперед, она в своем отношении к нему не изменится.

Но Лия не размышляла о Коле, а испытывала еще больший, чем он, страх. Но у нее хоть была надежда – Коля!..

А Коля, пятясь, еще сопротивлялся тихо, протестовал – но когда кастет острыми зубьями подносили к его подбородку,

Колю охватывал ужас. Он должен был шагнуть вперед, но шагал назад... Он только представлял, как шагнет вперед, драться с врагами – и тотчас почти физически ощущал удар кастетом, острыми зубьями, в подбородок... Когда он упадет, его будут бить еще... Какой смысл тогда, для чего тогда сопротивляться, шагать вперед? – никакого!.. Но ведь и уйти, вот так просто, трусливо пятясь, он тоже не может – и пока рассуждал, что не может, сам пятился... Он видел, что Лия все дальше и дальше от него, стоит рядом со Славкой, который никуда ее не пускает; как оставить ее одну? Ведь они могут такое натворить, такое натворить... чего только не могут натворить эти головорезы!.. Кровь стучала у него в висках, кулаки сжимались – а разум понимал, что он бессилен, слаб, бессмыслен в своей внутренней борьбе. Он должен был драться, но не дрался, потому что это бесполезно и для него и для Лии, в то же время он не должен был оставлять Лию, потому что оставлять ее одну ну никак нельзя, а он все-таки оставлял... Кажется, он уже не помнил и страха; только дикое, протестующее отчаяние – отчаяние, что бессилен, что мир так нелепо устроен, что никто его не поймет, а если и поймет, то не оправдает, а если оправдает, то не простит... Поймет ли Лия, простит ли?

Лия не простила... Больше никогда уже не ходила с Колей и, кажется, презирала его... Мать Лии, Надежда Тимофеевна, так и не могла понять, что произошло у них. Только в одном

она была убеждена: Коля Смагин гораздо лучше многих других, а уж тем более – Славы Никитушкина.

Но кто знает, какие мысли, какое отчаяние и страх, какие вообще чувства испытала и пережила Лия, оставшись тогда одна?

Кто мог ее обвинять в чем-то?

Вспоминая свадьбу, Лия действительно вспоминала нечто другое, что видела, слышала, ощущала в то время. Только теперь она поняла истинный смысл шума во дворе, и поразила ее простая мысль: есть люди, которые любят ее по-настоящему. Не в том дело, что любил ее Коля, которого она любить никак не могла и которого даже уважать не смела, а в том, что она не умела разобраться, кто любит ее, а кто нет. Возможно, кроме Коли, она оттолкнула от себя еще не одного парня – а где они теперь? Никого нет, она одна. Одна...

Так проходили дни, кончался уже ноябрь...

Как вдруг однажды, будто от долгого сна, Лия очнулась и отчетливо поняла: что-то должно случиться... Если ничего не случится, если все будет идти по-прежнему, если не произойдет какого-либо взрыва и ее не встряхнет – она сойдет с ума, или умрет, или...

Надежда на случай, который, казалось, все может изменить, повернуть ее жизнь, заставить бороться за другую, более лучшую и счастливую долю, странно успокаивала и будоражила ее. Потому что, в самом деле, не может все идти, как идет, не может продолжаться, как продолжается...

Эти мысли не оставляли ее целый день, а к вечеру, когда пошла на работу, она была уже уверена, что или сегодня – или никогда... Что сегодня? что никогда? – она не знала. Что бы ни было – но сегодня или никогда...

Но прошел час, два, три на работе, мимо нее сотни людей пронесли свои чемоданы, десятки отправили обычные и срочные телеграммы, простучал колесами не один уже пассажирский поезд, случились тысячи маленьких и больших событий, – но ничто не имело никакого отношения к Лии. Все, что ни происходило, происходило само по себе и само для себя, а все, что было Лией, было отдельным, независимым, никому не нужным миром... Лия начала сомневаться в своих надеждах – и как только начала, так почувствовала себя в тысячу раз несчастней, чем была несчастна до того. Как будто отпуская в воду канат, стремительно уходящий вглубь, она отпускала свою надежду, но, спохватившись, вновь подхватывала канат, ободрала себе руки, но надежду задержала. Не быть с надеждой до конца, до последнего мига – просто невозможно, и снова, ободренная, сидела Лия за окошечком телеграфа и надеялась...

На солдата, сидевшего в углу, она не обратила поначалу внимания, но вскоре почувствовала, что кто-то пристально смотрит на нее. Она глазами поискала человека и встретила взглядом с солдатом, он ей по-хорошему улыбнулся... Она рассердилась, нахмурилась, но сердце застучало живей, потому что – Бог его знает – может, это и есть случай?.. Когда во второй раз она встретила его глаза, то на улыбку ответила своей, неопределенной и смущенной... Но как только она улыбнулась, солдат перестал на нее смотреть: ему, верно, надо было увидеть ее улыбку – и все. Лия не верила этому, украдкой несколько раз взглядывала на него – но солдат был тот же: не обращал на нее внимания, думал что-то свое и пил глотками вино. Она глядела на него уже требовательно, раздраженно, пугаясь, что так и не посмотрит солдат снова, а он действительно не смотрел и, кажется, не собирался смотреть. Ему было скучно. «Что же он такой?» – думала она. Тогда гнев и требовательность она сменила на просьбу, – и он отвлекся от своего, увидел ее глаза: они были открыты и сердечны. «Что же ты такой?» – стояло в ее глазах. Но он, гордый, снова долго и упорно не смотрел на нее, а когда, наконец, посмотрел, когда, казалось ей, она вот-вот уже возненавидит его, он улыбнулся ей в открытую – и она тоже улыбнулась ему...

Дядя Евгения, Григорий Иванович Никитушкин, умер вовремя.

Глава восьмая

Поезд, наконец, привез Ивана Ивановича Никитушкина на место. Дорога показалась ему долгой, скучной, а хотелось приехать скорей и, если уж решился, поскорей и закончить со всем.

Выйдя из здания вокзала, он оказался перед единственной, ведущей в поселок, грязной ноябрьской дорогой. Глядя на нее, он стоял и как будто не решался – идти все-таки или не идти.

Он пошел дорогой вперед... Вскоре Иван Иванович оказался на небольшой площади, от которой в разные стороны разбежались три улочки. По которой пойти – он не знал. Он повертел в руках бумажку с адресом, похмыкал – и решил спросить у кого-нибудь, куда идти.

– А вот, милый человек, – приветливо объяснила первая же старушка, – сначала сюда пойдешь – видишь, во-он белый домик, после справа свернешь, после еще раз вправо – и сразу тебе Петра Великого улица... Тебе кого там?

– Никитушкиных.

– Григория Ивановича-то? Знаем, знаем... Помер, царство ему небесное, хороший жил человек... Небось, родственник какой? На похороны?

– На похороны, бабушка.

– Ну, иди, иди, милый...

И только было он отошел от старушки, только было зашагал по указанному пути – как вдруг, не успев и сообразить, в чем дело, бросился за угол первого же дома. Такой прыти он не ожидал от себя: кажется, прожил долгую жизнь, ничто уже не выведет из равновесия... «Ты спятил, старый, – говорил он себе, – ей-богу, спятил... Откуда ему быть здесь?..» Но чем больше вглядывался в солдата, идущего по дороге к площади, тем тяжелей билось сердце: сомнений не было – по дороге шел сын Женька. В то же время этого не могло быть, ну просто никак не могло – откуда он на Красной Горке? Что делает здесь? Ведь он дал телеграмму, что демобилизовался и вот-вот будет дома...

А Женька, неся под мышкой черный материал, свернул как раз в ту улочку, куда идти и отцу. «Тыфу ты!..» – обиделся Иван Иванович. Как вор, немного выждав, пошел он вслед за сыном. Тот иногда останавливался, поглядывал по сторонам и шел дальше. Иван Иванович, выдерживая дистанцию, крался за ним. Около белого домика Женька присел на крыльцо, задымил сигарету, материал положил рядом. «Ишь, подлец, как дома расселся!..» Женька покурил, забрал материал и снова тронулся в путь; отец – за ним.

Около белого домика Женька свернул как раз направо, куда шагать и отцу. «Ну, я тебя выслежу! Я тебе покажу!.. Отец с матерью ждут – не дождутся, а он похаживает и покуривает... И где? Вот ведь в чем дело...» В самом деле, Иван Иванович поехал на похороны не сразу, все ждал, раз уж получили телеграмму, что сын вот-вот подъедет... Но так и не дождался, наказал только Марии, чтоб встречала как положено, чин-чином. А она рукой махнула: «Ладно указывать-то! Бабам на Высоком Столбу указывай... А тут тебе не указ! Понял?» Ладно, он понял, это она не поняла... Так он и уехал, вроде бы и рад, что встреча с сыном оттянулась, и вроде нет. И вот – на Красной Горке судьба свела!

А Евгений во второй раз свернул направо – и теперь, Иван Иванович видел это, определенно направился к дому Григория. Дом Григория можно было увидеть издалека, потому что около него толпился народ, ребяташки заглядывали во все щели; чинно, тихо переговариваясь друг с другом, в черных шальных стояли старушки. Евгений смело прошел мимо них к сараю, отворил дверь и скрылся внутри. «Подлец, как дома у себя!.. И хоть бы ему слово кто...»

Иван Иванович остановился вдали и начал думать: что делать? Люди, стоявшие у дома, заметили его и, видел он, начали потихоньку разговаривать меж собой: что за человек? не родственник ли? почему не подходит? может, позвать его?..

И вдруг Ивану Ивановичу пришло в голову: бежать, бежать отсюда, бежать пока не поздно!

Но ноги не двигались.

Он знал, что никуда не сможет убежать и не убежит...

Медленно он приближался к дому, и как будто не ноги слушались его, а он их слушался: куда приведут, туда и ладно. Старушки, дети глядели на него, он поздоровался.

– Никитушкины здесь живут?

– Здесь. А вы кто?

Он не ответил. Не обращая внимания на людей, начал ходить вдоль сарая. Он слышал, как в сарае, мерно и точно, тюкал молоток. Походил Иван Иванович около сарая и наконец нашел дырку – от выдавленного сучка.

Он пристроил глаз к дырке и начал глядеть внутрь, но пока глаз не привык, ничего не видел. Вскоре разглядел широкий стол, на столе крышку от гроба – обивал его черным материалом сын Женя. Делал дело Евгений как мастер, как будто только тем и занимался в жизни, что обивал гробы.

«Подлец!..»

Иван Иванович вновь походил было. «Ольга приехала или нет еще?» И все равно не мог решиться, как ни обманывал себя. «Нет, наверно. Не приехала еще. А может?..» Он подошел к двери и рванул ее на себя.

Сзади удивленно глядели и шептались уже...

* * *

Самолет резко снизился и побежал по полю... Маше показалось, что он совсем убегает, – и, размахивая платком, крича что-то, она пустилась его догонять. Самолет стоял, урча вдали, и из него вышел на крыло странный человек в очках, с длинной белой бородой. Он глядел, как бежит Маша, и борода его развевалась на ветру; он не сказал Маше ни слова, когда она подбежала, – лишь подал руку и помог взобраться на крыло.

И они полетели...

И летели долго-долго, высоко над землей, проносились мимо облака, и оба не разговаривали... Даже если бы захотелось Маше говорить, все равно ничего не скажешь, потому что говорить нельзя и не о чем. Она, не зная, куда и зачем летит, в то же время ни минуты не сомневалась, что лететь надо... Вот, догнав поезд, они снизились, и старик-летчик, злорадно рассмеявшись, коснулся колесами шасси крыши одного из вагонов. «А-а... – догадалась Маша. – Это Ваня едет, догнали мы его. Ну, слава Богу...» Она вспомнила, что Ваня поехал хоронить брата, ее с собой не взял... Самолет взмыл вверх, и поезд остался внизу и сзади. «До свиданья, Ваня... я полетела...» Она вдруг тоже зло-радио рассмеялась – и летчик, повернувшись к ней, махнул белой бородой по ее лицу, подмигнул ей. Борода была мягкая, и Маша не обиделась на старика за борду.

Потом начало темнеть, все больше и больше, и, чтобы, наверное, не разбиться, а остаться живыми, они полетели ниже над землею и видели ее близко. Вдруг среди какого-то квадрата черной земли желтым клином показалось внизу кладбище, и старик снова повернулся к Маше и что-то у нее спросил. А она не поняла, но кивнула, и тогда, прибавив скорости, самолет, как бешеный, закружился над местом – и покатилося, поплыло, поехало все в глазах у Маши. «Тише, осторожней...» – хотела она сказать, но не могла ничего выговорить. А старик, дернув какой-то рычаг, вдруг пропал из самолета, и самолет, носом точно на кладбище, стремительно пошел вниз... До земли осталось сто, пятьдесят, двадцать метров... пятнадцать, десять, три... – земля разверзлась, и какая-то длинная рука, подхватив самолет, рванула его в глубь земли. Мимо окон, которые от удара даже не треснули, понеслась черная глубинная земля...

Но и это все пропало. Маша, не помня, где старик с белой бородой, самолет, куда и зачем тянула ее рука, уже шла откуда-то из дальнего края, сама с протянутыми руками, на кладбище. Перед ней неожиданно из маленького обычного человека, лежащего в гробу, вырос огромный, с закрытыми глазами человек, вокруг которого большая и жалкая толпа копошилась и пыталась уложить его, такого большого, в маленькую могилу. Он не сопротивлялся, но и уложить его было нельзя.

Маша заплакала.

Плача, она увидела Ваню и нисколько не удивилась, что в одно и то же время он едет на поезде и стоит здесь, на кладбище, увидела она всех, кого уже мертвыми, а кого живыми, кто не любил ее, всю жизнь проклинал или считал, что в чем-то она виновата больше всех, хотя все люди виноваты во всем. А Григорий, сложив руки на груди, связанные веревочкой, никак не хотел идти в могилу и оставаться там один навсегда.

«Григорий, – сказала ему Маша, – я пришла проститься».

Все глядели на нее, а она ни на кого не глядела, но когда пошла, то вперед выступил Ваня и, расставив руки в стороны и вверх, как будто он взывает к Богу, закричал на весь свет: «Не пущу! Не пущу!..» Крик был громок, с болью, ужасен. И Маша послушалась его, остановилась, только вдруг она увидела, как Григорий улыбнулся ей и позвал ее. Никто не слышал его зова, не видел улыбки, а она услышала и увидела, и мягко, нежно отстранив Ваню рукой, пошла вперед.

«Зачем ты? – спросил Григорий. – Куда идешь? Ко мне? Навсегда?»

«Нет, – ответила Маша – Не хочу я к тебе. Ты мертвый. Только прости. Этого прошу».

«Ты прости. Это ты прости...»

«Нет, нет! – ты, ты прости...!»

«Но за что тебя? В чем ты виновата?»

«Григорий, – не слушалась она. – Прости...»

Григорий рассмеялся громко, теперь уже все видели, как он рассмеялся, и она побежала прочь. А он, не думая ни о чем, схватил Машу за руку и потянул к себе.

«Никого не буду прощать, – сказал он. – Никого. Кто меня простил?» – И тянул ее за собой.

Ужас охватил ее, она закричала:

«Пусти, пусти!.. Зачем я тебе?.. Не хочу!..»

«Идем, идем... Помнишь, как были вместе? Как было хорошо?..»

«Да пусти, пусти!.. О, страшно мне, страшно!..» – Она хотела плакать, но не плакала, хотела убежать, вырваться, но не могла ни вырваться, ни убежать.

«Ведь ты любила меня? Ведь говорила?! Говорила?! Или лгала? Лгала? Скажи же!..»

Маша задыхалась. Григорий спрашивал ее, а сам душил – и сил не было ни отвечать, ни сопротивляться; она чувствовала, что сердце вот-вот разорвется – и она умрет. Она собрала с последними силами, напряглась вся, рванулась – и почувствовала, как все-таки воздух прошел в горло, и услышала вместе с тем отчаянный свой крик...

Она проснулась.

Было тихо, спокойно, совсем обычная ночь глядела в окна. Не сразу еще согласилась в душе Мария, что все, что было, было лишь сном, но каким сном! Горячая, вся в поту, Мария лежала на постели и пыталась на чем-нибудь сосредоточиться, но не могла. Она лишь чувствовала облегчение, спокойную радость, что жива, что одна, что кошмар позади...

Иван уехал на похороны... она одна... Григорий умер... Скоро приедет Женя... Может, завтра? Может, может быть...

Она попробовала снова закрыть глаза и уснуть – но как только закрыла, так вновь поплыло перед глазами... Нет, решила она, сегодня уже не спать, не могу... Боже, страх-то какой!..

Она поднялась, включила свет. Этот день для нее начался во втором часу ночи.

– Здравствуй... – сказал отец.

Он стоял перед сыном жалкий, но и решительный.

– Здорово, батя! – усмехнулся Евгений.

Они шагнули друг к другу, отец крепко обнял сына.

– Ну – будет, батя, будет...

Они сели рядом и оба закурили. Каждый долго мял папиросу, продувал ее, делал гармошку; прикурили от одной спички.

Дверь в сарай отворилась, и белобрысый пацан, просунув голову, тихо позвал:

– Дядя Женя-а!..

– Ну? Чего надо?

– Дядя Женя-а... скоро будет готово?

– Будет, будет... иди давай...

– Там спрашивают...

– Иди, говорю... будет, скажи. Скоро будет готово.

– Так и ска-зать?.. – Но ответа не дождался, закрыл дверь и пропал.

О чем говорить, ни отец, ни сын не знали.

– Так... – протянул Иван Иванович. – Значит, ты здесь... – И криво усмехнулся. – Может, скажешь, сын, каким ветром занесло?

– Каким... – протянул сын. – Обыкновенным.

– Каким таким обыкновенным?

– Да так, ехал вот домой...

– Ну?

– Ну-ну! Ехал, говорю... дай, думаю, заеду...

– Именно сюда?

– Почему именно сюда? – Он тоже сделал упор на «именно». – А вообще – именно сюда.

Чего особенного?

– Да оно ничего, конечно... – согласился отец. – Пить, что ли, так стал?

– Как?

– Как... отстал вот.

– Э, батя, это мое дело... Тоже, поди, ждал, пока приеду? Охота выпить-то?

– Тоже верно... не против.

Они улыбнулись друг другу, и вроде сделалось легче.

Дверь снова открылась – и тот же белобрысый парнишка, вытаращив глаза, прошептал:

– Дядя Женя-а... ждут они. Только не ругайтесь!

– Ладно, не буду... Подь сюда!

Паренек недоверчиво поглядел на Женю, помотал головой.

– Иди, иди... не бойся.

Осторожно, боясь не Жени, а крышки гроба и черного материала, паренек на цыпочках подошел к Жене.

– Чего-о? – прошептал он тихо и подставил ухо.

– Вот чего! – Женя щелкнул ему в лоб и рассмеялся; щелчок был слабый, но звонкий.

Паренек пулей выскочил из сарая, но, пересилив себя, вернулся.

– Эх, дядя Женя-а... – сказал он разочарованно и влюбленно. – Грех это... Неужто не знаете?

И снова пропал.

– Что еще за пострел? – спросил отец у сына.

– А Бог его знает, здешний чей-то... Их тут много, всех не запомнишь...

– Ну а у кого хоть ты – знаешь?

– Как у кого? У Никитушкиных! – словно о чем-то само собой разумеющемся ответил он.
– Так... у Никитушкиных, значит... – протянул Иван Иванович. – Интересно...
– Еще как!
– Никитушкин, значит... Так... – раздумывал Иван Иванович. – Ну а я-то, как думаешь, чего здесь делаю?

– Тебя спросить надо.

– Нет, ты-то что думаешь?

– Ну что, – начал сын, – ничего...

– Ну а все-таки?..

– Ну, родич тебе, мертвый-то... – И добавил: – Давай, батя, без этих... начистоту. Григория Ивановича хоронить приехал?

Иван Иванович помолчал, затянулся долгой затяжкой и напрягся весь как струна.

– Его.

– Кто он?

Еще помолчав, отец как-то нелепо соврал:

– Сирота он.

– Сирота? Что за ерунда?..

Дальше Иван Иванович обманывал уже с воодушевлением:

– Обыкновенный сирота... Отец и мать, твои дед и бабушка, взяли его на воспитание... Рос он вместе со мной и сестрой. А в 15 лет вдруг сбежал, написал, что, мол, нашел родных мать и отца... Лет через десять только узнали мы, что живет он здесь, на Красной Горке...

Дверь неожиданно распахнулась, и в сарай, плохо видя со света, вошла Ольга Ивановна Никитушкина, теперь Иванова.

– Женечка, ты здесь?! Мне сказали, что ты уже приехал. Боже мой, какое горе! Боже мой!..

Она не спросила, когда и как приехали на похороны брат и племянник, не сказала, когда приехала и сама. Это было теперь не важно.

– Тетя, а Григорий Иванович – кто он? – спросил Евгений.

– Как кто... милый ты мой... – запричитала Ольга Ивановна. – Бра-ат... брат наш... Гришенька...

– Родной брат?

– Женечка-а... не сты-ы-ыдно-о... тебе-е... – убивалась Ольга Ивановна. – Какой же еще? Родной, родненький, самый кровный... Гришенька наш родной... золотко наше... Горе, горе-то какое...

Глава девятая

Еще не успел поезд стать, еще упаковывали пассажиры чемоданы, а Слава, расталкивая людей, бежал к выходу. В окно, взглянув на дорогу, ведущую на кладбище, он увидел далекую, редкую вереницу людей. Кладбище стояло в стороне от поселка, к нему, петляя, вела отдельная дорога. По этой дороге, кроме как хоронить кого-то, люди не могли идти, и он сразу все понял... Выскочив из вагона, он бросился напрямую, через снег и поле, к дороге; снег набирался в сапоги, он увязал в нем, кричал что-то, но никто не слышал его... Он остановился, прикинул взглядом и догадался, что если поднажмет, то успеет... Не глядя вперед, только под ноги, он ринулся вновь через снег, туда, к похоронной процессии. Все-таки его ждали... думал он лихорадочно... ждали. Действительно, ждали его долго, решиться хоронить отца без единственного сына никак не могли, но прошли уже все сроки, 3-е уже декабря – а Славы все нет. Делать было нечего...

Он, наконец, остановился, чтобы хоть немного передохнуть – и увидел теперь с облегчением, что успеет. Совсем близко была дорога, а по той дороге, близко от него и от кладбища, двигалась похоронная процессия... Он различал уже лица, хотя кто есть кто – толком еще не мог разобрать. Да, теперь он успеет... Он видел, как дорога, образовав петлю, затянула из людей узел; узел этот шевелился. Как будто все, кто был там, охвачены единым узлом, притянуты накрепко друг к другу, но, словно боясь этого, люди шевелились каждый в свою сторону, одни уходили уже вперед, выскользнув из узла, другие оставались в нем, третьи еще только входили.

Когда Слава догнал их, то из задних рядов кто-то улыбнулся ему, махнул рукой, но чем дальше вперед, к отцу, тем серьезней, суровой шли люди – а у самого гроба люди были непроницаемы.

Он прямо пошел к отцу, глядя в его лицо, но не узнавал его. Ему казалось невероятным, что в родном отце ничего знакомого, родного, живого не видит он, такого не может быть... Он несколько раз оглянулся по сторонам, как бы ища у кого-то поддержки, но даже если и была она в ком-то, в чьих-то глазах, все равно не увидал он ее – потому что совсем ничего не видел вокруг. Теперь, как никогда до того, он ощутил себя очень серьезным, взрослым, даже старым совсем человеком, а понимания, мысли, идеи: что это? зачем это? почему это? – не было в этом старом молодом человеке. Он чувствовал, что горе пришло к нему, а осознать и понять его – не мог, не хотел мочь.

Кажется, он даже мешал кому-то... Кто-то ласково и дружески взял его за плечо и показал глазами на полотенце: возьми, мол, так будет удобней. Он понял. У кого-то перехватил белое вафельное полотенце, уперся в него спиной и узнал, что от отца, кроме огромной, режущей плечи тяжести, теперь ничего не осталось.

Так он шел. Он устал, но не замечал этого, заметили другие. Его сменили, и когда он отдал полотенце, то почувствовал плечом удивительную легкость морозного воздуха.

Еще прошло немного времени – и пелена непонимания начала медленно сходить с его глаз. Он уже и понимал, и видел, что вот рядом кладбище, отца сейчас закопают, могила, конечно, готова... Начал и различать людей... Вторым за отцом человеком, которого он разглядел, была Лия, он поглядел на нее, она на него. Всё. Потом он увидел, всю заплаканную, Надежду Тимофеевну. Потом узнал в толстой, укутанной в теплое женщине – тетку, Ольгу Ивановну; рядом с ней шел и вместе с другими нес гроб ее муж, Николай Степанович... Узнал Слава и многих из тех, кто работал вместе с отцом в депо. Но вот кто такие двое, очень похожие друг на друга и в то же время чем-то отдаленно напоминающие отца, двое, которых никто еще не сменил и которые, было видно, по полному незыблемому праву провожали отца в последний путь, кто эти двое, Слава не знал.

Как не знал многого из того, что знали уже другие, как не знал почти ничего, что знать должен был...

Впрочем, что отец умер, он знал.

Встречи – расставания

Глава первая

Петровна была в сенцах, когда вошел милиционер:

– Здравствуйте. Вы будете Александра Петровна Симукова?

– Я самая и есть. Здравствуйте. – Петровна настороженно пошарила по карманам фартука. – Да вы проходите, проходите, у меня тут... уборку вот затеяла: все вверх дном...

– Что же вы, Александра Петровна, – с укоризной начал милиционер, проходя в дом, – не выполняете указаний администрации?

– Это какие указания? – Петровна выставила перед милиционером табуретку, смахнула с нее пыль. – Присаживайтесь, в ногах правды нет.

– Ну, как какие... – Садиться на табурет старшина не стал, а сразу прошел в большую комнату, по-хозяйски окидывая ее взглядом. – Домишко ваш снесли?

– Снесли, слава Богу, снесли...

– Ну вот... Теперь, стало быть, что из этого следует? – Старшина рассматривал на стене вышитый гладью Кремль. – Добрая работа.

– Да куда там... – смутилась Петровна. – Баловалась в девичестве.

– Добрая... – Старшина постоял, полюбовался картиной. – А слушаться администрацию все-таки надо. – Милиционер улыбнулся Петровне. – А?

– Так только то и делаю, что слушаюсь... Как не слушаться-то? Нехорошо.

– Именно так. Ведь домик ваш снесли?

– Снесли, слава Богу, снесли.

– И ордеров на получение комнаты выписали. Выписали?

– Чего не знаю, того не знаю.

– Выписали, Александра Петровна, выписали. Теперь, стало быть, что надлежит сделать? Надлежит ордер на руки получить.

– Так ежели он без надобности?

– Как так может быть без надобности? – Старшина снова улыбнулся, подошел к горке, начал рассматривать немудрящую посуду. – Жить вам где-то надобно?

– Ну, милый... жить-то я и здесь, слава Богу, проживу. Недолго уж до смерти-то осталось.

– А это, Александра Петровна, дай вам Бог здоровьица жить еще долгие годы. А вот проживать на данной жилплощади не имеете права. Переезжайте в свою законную комнату.

– Так мне комната не нужна. Зачем мне комната? Я же говорила комендантше, не надо мне ничего, проживу и здесь с внучком. Уж как-нибудь...

– Погодите, погодите... – Милиционер присел наконец на табуретку, Петровна быстро устроилась напротив. – Давайте по порядку. Вы прописаны на данной жилплощади? Нет, не прописаны. Значит, что? Значит, нарушаете паспортный режим. Подвергаете себя серьезной опасности – крупному штрафу. А ведь у вас, Александра Петровна, есть теперь своя комната. Нужно получить ордер и прописаться в ней. Простая арифметика.

– Я и говорю... Зачем мне комната? Заберите у меня комнату, а самое тут пропишите, у снохи с внучком, раз уж чтоб без нарушений. А то у меня лишних денег нет, за еёные комендантские глупости расплачиваться.

– Тут глупостей никаких нет, Александра Петровна. Комендант Куприянова требует по закону. Мало ли кому где жить захочется. Надо еще право на прописку иметь. А у вас такого права нет. Здесь прописаны ваша сноха, ваш внук, а у вас есть свое жилье. Получайте его и

прописывайтесь. В случае же дальнейшего нарушения паспортного режима к вам будут приняты строгие меры. Несмотря, извините, на ваш возраст.

– Так это как же это так... внучок мой здесь останется, а я должна в другом месте жить?

– У вашего внучонка есть мать.

– Так ведь она далеко... по договору на Севере... они ж туда еще с Кольшей...

– В таком случае мальчика можете забрать на свою жилплощадь.

– А здесь, значит, никак нельзя? – сокрушенно покачала головой Петровна.

– А здесь нельзя. Не имеете права без прописки.

– Вот беда-то... А мне вон Аня пишет, мама, мол, и не надо тебе никакой комнаты, живи с Алешкой как жила, приеду – пропишешься у нас, а то ни то ни се получится... зачем нам отделяться?

– Вот когда приедет, тогда и ставьте вопрос. А пока получайте свою собственную комнату, прописывайтесь. – Старшина поднялся с табуретки, поправил ремень. – Сегодня же сходите в ЖЭК, Александра Петровна. Знаете Яновскую такую, председателя жилкомиссии?

– Как не знать...

– Ну так вот, к ней. – И с этим, попрощавшись, старшина вышел из дому.

Алешке Петровна написала записку, мол, придешь из школы, обед в духовке, а сама, надев новое платье – подарок Ани, отправилась в ЖЭК. Яновской на месте не оказалось. Посидела Петровна, посидела на стуле около ее двери, вышла во двор. Непокойно у нее на душе. Главное, не понимала она, как правильно поступить. Получишь эту комнату, а потом у Ани не пропишут. Обидится Аня. Скажет: что, мама, не хочешь уже с нами? Обязательно обидится. А с другой стороны, как тут самой все сообразить? И пенсию не дают без прописки. То давали-давали, а тут на тебе – не дают. Будто Петровна уже и не Петровна. А без денег тоже не жизнь, без денег им с Алешкой туго приходится.

Петровна вышла на Пролетарскую улицу, завод вдалеке знакомо дымил трубами. Может, к Лиде в заводоуправление заглянуть, расспросить обо всем? Когда-то она им помогла, не посмотрела, что Кольша обидел ее, добрая оказалась душой, незлопамятная. И потом – законы она знает. А когда законов не знаешь, как тут правильно поступишь?

Завидев Петровну, Лида с ходу затараторила:

– Что ты, тетя Шура, даже и не вздумай соглашаться! – Отвела старуху в сторону и горячо зашептала: – Я тут кое-что слышала о вашей квартире. Понимаешь, тетя Шур... у Ани-то когда договор закончился? Ну вот, в январе. Еще немного подождут – и могут, чего доброго, квартиру отобрать. Заводу жилья не хватает, сама знаешь, а тут квартира такая шикарная. Закончился договор, будь добр, приезжай обратно, не приедешь – через полгода могут отобрать квартиру. Пиши скорей письмо на Север: Анька, мол, ты что, сдурела, приезжай быстрее, а не то не видать тебе своей квартиры. Ты сама-то понимаешь, тетя Шура? Даже если и приедет – ее сильно прижать могут. Сколько человек прописано? Она да Алешка. А квартира – ого-го, три комнаты. Подселят алкаша, сама запросит хоть маленькую, да отдельную квартиру. А если тебя пропишут, с метражом все нормально будет. Поняла?

– Понять-то я поняла, Лид, да не очень... Мне-то чего делать? Соглашаться на комнату или как?

– Фу-ты, тетя Шур, я ж тебе толкую... да нет, конечно! Затяни пока. Аня приедет, пропишет тебя у себя. Будете жить вместе. Зачем вам отдельно-то?

– Именно што так. Нам бы только вместе. А не то Аня обидится, скажет, мама, мол, ты от нас куда же это? А?

– Да ясно, ясно, тетя Шура. Ты, главное, говори им: Аня приезжает скоро, вот, мол, вот... подождать, мол, надо. Вот и все.

– Ну, спасибо тебе, Лид. Растолковала старухе. А то се дня милиционер пришел – у меня и поджилки затряслись.

И обе они, Петровна и Лида, отходчиво рассмеялись.

– Ничего, тетя Шура, не бойсь. Дело житейское. Как там Алешка ваш?

– Алешка? – Петровна махнула рукой – то ли обрадованно, то ли благодарно. – Растет. В Кольшу, кажись, пошел – и тихой будто на вид, а внутри не поймешь его. Заглянула б как-нибудь, а, Лид?

– Тетя Шура, я б с радостью, да сама знаешь... своя семья.

– Замуж вышла? – всплеснула руками Петровна.

– Ага!

– Вот так радость у тебя! А я и не слыхала... Ну, Лидуха, ты совсем молодец! А он кто же у тебя?

– Да тут, наш один, из заводоуправления. Покажу как-нибудь.

– Ну, дай вам Бог счастья, – стала прощаться Петровна. – Пойду уже. А то прозеваю Яновскую, опять милиция придет.

– Ну, ни пуха ни пера, тетя Шура! А Ане письмо поскорей пиши, а то она неизвестно чего там думает.

– Это уж да, Лид, как домой приду, так сразу и отпишу. Ну, бывай здорова.

– До свиданья, тетя Шура!

Яновская носила круглые очки – вид строгий и даже суровый; но Петровне она улыбнулась как старой знакомой:

– Присаживайтесь, Александра Петровна.

– Спасибо. – Старуха осторожно присела на краешек стула.

– Вы извините, я сейчас... – В комнате у Яновской толкался народ, с бумагами и справками – все свои, жэковские; через минуту-другую, подписав разные бумаги, Яновская осталась за своим столом одна.

– Что же вы так долго не приходили, Александра Петровна?

– Да вот такое дело... некогда все... а сегодня как раз старшина...

– Ну да, мы решили милицию подключить, – снова улыбнулась Яновская, – думаем, милицию-то уж вы послушаетесь.

– Это уж, конечно, как не послушаешься.

– Та-ак, сейчас... – Яновская порылась в ящиках стола, достала нужную бумагу. – Вот, Александра Петровна, распишитесь вот здесь – внизу, и с этой минуты вы владелец собственной комнаты. – Яновская протянула Петровне ордер и авторучку.

Старуха взяла ручку, бумагу, начала высматривать место, где нужно поставить подпись.

– Нет, не на ордере. А вот здесь, в книге... мол, я такая-то такая, получила ордер на руки... и так далее... такого-то числа.

– А как же это писать-то?

– Нет, Александра Петровна, вы просто распишитесь вот здесь. А остальное там уже написано.

– Ага, понятно... – Петровна приноровилась к книге, приставила ручку. – А не расписываться никак нельзя?

– Как то есть не расписываться? – улыбнулась Яновская. – Да это же все формальности, Александра Петровна. Главное – получайте ордер и въезжайте в новую комнату.

– Так, понятно. Да... – Старуха подняла глаза на Яновскую. – Так ведь комната-то мне не нужна.

– Это как же это так? – поразились Яновская. – Такого быть не может, чтобы вы не нуждались в жилье.

– Как не может... Зачем мне комната-то? Я сколько раз комендантше говорила об этом.

– Ну, как же... ведь у вас был собственный домик? Был. Его снесли? Снесли. Естественно, исполком принял решение: выделить вам отдельную комнату.

– А я от этой комнаты отказываюсь, значит. Она мне вовсе и без надобности.

– И где же вы жить собираетесь?

– Да с Аней буду жить, где ж еще-то. С Алешкой. Они, слава Богу, не чужие мне. Одна семья.

– Да кто это в наше время от собственного жилья отказывается? В первый раз такое слышу... Ну, получите свою комнату, а живите где вам захочется.

– Ишь вот как вы говорите... А вот получу комнату, вы меня у Ани-то и не пропишите.

– А зачем вам там прописываться?

– Как зачем? А затем, што я там жить собираюсь. Да и помирать там буду. Нам два дома не нужно. Не чужие. Родня.

– В том-то и дело, Александра Петровна, сегодня они вам родня, а завтра...

– Как то есть завтра? Мне вон и Аня пишет: вот, мол, вот домой вернусь, пропишешся, мама, у меня – заживем не хуже других...

– А вы подумали, зачем она вас хочет прописать у себя?

– А как не подумала. Конечно, подумала. Аня-то у нас хорошая, хочет, штоб хорошо все было... штоб по-семейному.

– Никто не отрицает, может, она и в самом деле хороший человек. А только прописать она вас собирается, чтобы всю площадь за собой сохранить.

– А вы, значит, хотите площадь отобрать у нее?

– Да с чего вы это взяли?

– Есть на свете добрые люди...

– Эх, Александра Петровна, Александра Петровна, – укоризненно покачала головой Яновская, – люди-то, может, действительно добрые, если правильно объясняют, а если неправильно?

– Как так неправильно? Наоборот, выходит, как раз и правильно, раз добра хотят старухе.

– А мы, значит, добра не желаем?

– А коли добра желаете, зачем комнату навеливаете?

– Странно вы разговариваете, Александра Петровна... – Яновская в задумчивости постукала пальцами по столу. – Ну, хорошо, буду с вами разговаривать начистоту. Только уж не обижайтесь...

– Это последнее дело – на правду обижаться. – Петровна отложила ручку в сторонку.

– Вам ваша Аня – она кто? Дочь или кто?

– А как же, дочь будет.

– Нет. Она вам сноха, так это называется? Сноха. А вот Николай был ваш сын.

– А Кольша, это уж, конечно, сын. – Голос у Петровны дрогнул.

– Во-от... а Николай был сын. Кто мог знать, конечно, что так все обернется... но ведь в живые его не вернешь?

– Я б жизнь отдала... лишь бы он, мой голубчик...

– Вы не обижайтесь, Александра Петровна, но вы сами натолкнули меня на этот разговор. – Яновская грустно помолчала. – А теперь взгляните... Вот вы хотите жить вместе с Аней и внуком. Отказываетесь от комнаты. А ведь Аня – женщина молодая...

– Это уж так, молоденькая совсем... – кивнула Петровна. – Беды только взрослые.

– Вот... А раз молодая, значит, что может получиться?

– Што?

– А то, Александра Петровна, что ведь замуж она выйдет. Или вы думаете, она вечно будет вдовой?

Петровна ошарашенно молчала.

– И теперь представьте, – продолжала Яновская, – вот у нее новая семья, а вы как же? С ними жить будете? А мужу – понравится это? Никому это не понравится. И Ане вашей тоже. Вы ведь как укор будете...

– Вот оно, значит, как... – протянула в растерянности Петровна.

– Именно так. На заседании исполкома товарищи прямо рассудили: что же это, мол, сама Александра Петровна Симукова не понимает такой простой житейской ситуации? Отказывается от комнаты, настаивает, чтобы ее прописали в квартиру снохи... а для чего? Ну а если не будет у нее жилья – куда она пойдет потом, когда со снохой у них разладится? Ведь к нам опять пойдет? К нам. За чем? За жильем. Так для чего нам двадцать раз разрешать один и тот же вопрос? Постановили – ввиду сноса вашего старого домика выделить вам комнату. Получайте ее и живите спокойно. А со снохой, когда она вернется с Севера, стройте отношения, как уж вам обоим совесть подскажет.

– Так она уж вот-вот, на днях, может, и приедет...

– Тем более – значит, очень скоро все станет на свои места. Понятно вам теперь, Александра Петровна, что о вас товарищи побеспокоились?

– А как же, понятно... большое спасибо. Можно, значит, пойти?

– Ну да, конечно. Поставьте вот здесь подпись. И можно вас поздравить с получением ордера.

Петровна опять было склонилась над книгой, нацелилась ручкой и вдруг тихонько, не поднимая головы, спросила:

– А без подписи, выходит, никак нельзя?

– Как без подписи?! Да вы что, Александра Петровна, в самом-то деле?! Я ведь вам столько объясняла...

– За то спасибо, конечно. Но сами посудите... – Петровна подняла глаза, жалобно сиявшие горечью и мукой. – Аня-то приедет, а я што скажу? Комнату, мол, получила. Выходит, и не хочу я жить с ними... как же так-то? А я как раз наоборот... вся душа к ним прикипела... мне без них и жизнь зазря получается. Вот как...

– Александра Петровна, как же вы не понимаете! Да ведь вы...

– Вы уж извините, а я... я, пожалуй што, пойду... вот как... – И с этими словами Петровна неожиданно поднялась со стула и направилась к выходу. – До свиданья.

– Как?! Куда же вы?! – встала из-за стола Яновская. – Да постойте же...

– А значит, так, – серьезно проговорила Петровна, обернувшись в дверях. – Не сегодня-завтра Аня приедет, мы и ответим свое. А без Ани мне мало што понятно, а обижать ее – это мне никак не под силу... – И старуха вышла из комнаты.

Глава вторая

– Уйди... не могу я, не могу! – Аня не противилась, не отталкивала его, но сидела как в воду опущенная, полуотвернувшись к окну, низко опустив голову. – Господи, как ты меня мучаешь... и ведь стыдно-то как, сты-ы-ыдно...

Он все понимал и терзался не меньше ее, в то же время ничего нельзя было поделать с собой. Он с трудом оторвал свои губы от пульсирующей на ее исхудавшей шее голубоватой жилки, медленно открыл глаза, с тяжелой тоской выдохнул воздух.

– Не можешь? – потерянно прошептал он, как бы вовсе не спрашивая, а утверждая.

– Не могу, Яша... – Она повернулась к нему, из глаз ее навстречу ему засочились глухая горечь, любовь, мука, он любил эти глаза больше всего на свете, в них светились правда и преданность, в них укором стояла память, проклятая и светлая память.

– Я понимаю, – сказал он. – Я завидую.

Осторожный, нежный ее палец лег ему на губы:

– Не надо...

Он чувствовал губами легкое прикосновение ее пальца, вдыхал горчащий запах шершавой кожи, подрагивая то верхней, то нижней губой, как бы лаская ее палец. На самом деле это пульсировала в надкусанных его губах кровь. Он снова без сил закрыл глаза, ощущая ломящую боль в висках, отчего брови поневоле нахмурились, сдвинулись к переносице, и он чуть покачал головой, словно хотел убаюкать свою боль. Палец ее скользнул с его губ, упал на подбородок, уютно лег в ямочке, поросшей жесткой щетиной, и сдержать себя было для нее сейчас выше их общей муки, она два-три раза провела мягкой округлостью пальца по его ямочке, что-то в нем задрожало и сдвинулось, левой рукой он потянулся к ее собранным на затылке волосам, неощутимо привлек к себе ее голову и смотрел на Аню широко открытыми, молящими о любви глазами. Волна томности нахлынула на нее, палец соскользнул с подбородка, горячая влажная ладонь легла на загорелый, открытый от распахнутой рубахи треугольник его груди, поросший седоватыми колечками волос... Она почувствовала, как пальцы его напряглись и больно вжались в ее затылок, и эта боль не была болью, а была желанна, Аня подалась на его чувство, которое сама только что вызвала в нем, глаза ее слёзно подёрнуло дымкой, и теперь она смотрела на Яшу его же глазами – молящими о любви, о прощении. В какую-то долю секунды она еще видела, как веки его медленно опустились, а губы были уже совсем рядом и были ослаблены, и когда доля этой секунды отлетела в вечность, Аня уже сама была с закрытыми глазами, ощущая пока еще холодными губами горячие губы Яши. Она с силой, с трудом оторвалась от него, когда дышать было совсем нечем, широко открыла рот и быстро-глубоко вдохнула несколько раз воздух; Яша в нетерпении снова поймал ее губы на полувдохе, и опять она отдалась поцелую, с обмирающей в душе покорностью чувствуя, что нет в ее сердце ни стыда, ни защиты от этого наваждения. Он целовал ее такими изнуряюще долгими поцелуями, что вскоре она перестала сознавать, кто она, где она, зачем она, только покой и истома и необоримое желание блаженства, глухое моление Богу: Боже мой, Боже мой, Бо-о... «Бо-о-ольно!» – вдруг тихо вскрикнула она, и этот для нее самой неожиданный крик пронзил ее память так, будто игла вошла в сердце. Яша подергивал ее лифчик, никак не давалась застежка, маленькая и верткая под дрожащими пальцами; застежка больно впилась в тело, Аня вскрикнула, и вместе с этим вскриком жалищая укором мысль пронеслась в ней: «Кольша был не такой. И в ту же секунду ей стало мерзостно от самой себя, от обоюдной этой похоти, страсть схлынула, будто ее и не было.

– Уйди... уйди же! – с решимостью оттолкнула она Яшу двумя руками; он упал на постель навзничь, ошарашенно глядя на нее и почернев в лице от унижения. – Уйди! – повторила она не то что голосом, а злобным шепотом.

Он медленно поднялся с постели, в который раз выругивая себя в душе черным матом, кляня себя за эту прихотливую и постыдно-беспомощную любовь, кляня судьбу за то, что когда-то она свела их всех вместе. «Мать твою и в Бога, и в душу!» – шептали его губы, пока он непослушными руками надевал пиджак, шарф, полушубок, нахлобучивал шапку.

В дверях он замедлил жесткий свой шаг, остановился. И так стоял, дожидаясь, скажет ли она хоть слово, или он так и уйдет, с замутнённой, как прежде и как всегда, душой. Она молчала. Было непосильное искушение обернуться, взглянуть на нее и, если что, пусть даже упасть на колени, лишь бы не чувствовать удушающей сердце вины, которая и не была виной, а была одним лишь обманом. Она молчала. Он резко шибанул рукой дверь и вышел из комнаты, грохоча в передней коваными сапогами.

Она молчала, сидя с поникшей головой, уронив отяжелевшие руки между колен, и напряженно вслушивалась почти с умалишенным выражением на лице, как удаляется грохот его сапог. Каждый раз иступленно казалось, что это конец, что это даже больше, чем конец – это, быть может, начало выздоровления, уход от муки и любви, приход к освобождению и надежде. Но и этого ничего не было никогда и никогда не будет. С этой мыслью, которая гнетом сдавли-

вала и без того отяжелевшее сердце, она как подкошенная упала на постель, уткнулась лицом в подушку, так и не освобождая стиснутых между колен рук, и, вовсе не замечая ни неудобства, ни боли в напряженных предплечьях, громко зарыдала. Голова ее сотрясалась, как сотрясается повозка на булыжной мостовой – безжалостно, остервенело, вкривь-вкось; отчаянное рыдание, ударяясь о подушку, опахивало ее лицо горячей одурью, а слезы и рыдания все больше безумили ее, застилали сознание, и нельзя было даже самой понять сейчас до конца, отчего так горячо она плачет – тут одно на одно, накопленное, наслоившееся, истерзавшее душу и сердце.

Нет, не о жизни она сейчас рыдала, а в который уже раз оплакивала то, что должно было быть ее жизнью и что стало пропастью и тяжелым сном. Она знала, она давно поняла, что все бывшее – не суд ей и не судья и никак не может вершить всю судьбу женскую – от начала и до конца, и все же пока что именно бывшее решало ее жизнь. И через это безумие она не в силах была перешагнуть, память была ее мукой, но мука эта была ее совестью, а совесть и есть весь человек во всей его подлинности. И она рыдала сейчас с таким безысходным надрывом, столько муки и отчаяния выплескивала наружу вместе с плачем, что вскоре совсем обессиленна и неожиданно, будто нырнув в небытие, провалилась в сон, взявший ее глубоко и крепко. Яркий до болезненности румянец проступил пятнами на ее щеках и висках, в правом уголке губ натянулась тонкой глянцевитой паутинкой запекаясь слюна, изъеденные слезами веки грузно отяжелели, старчески сморщенно нависнув над дымными под глазами полукружьями теней... Через минуту-две Аня уже крепко спала...

На вахту она ехала ни с кем не разговаривая. Это бывало с ней, находило такое – как сыч замыкалась в себе, хмуро глядя исподлобья в одну какую-нибудь нацеленную точку. Ребята привыкли, хотя помнили ее и другой – веселой, беспощадной на расправу, если уж попался ей на язычок. Но это еще когда был жив Кольша...

Вахту Яша принял с мрачной сосредоточенностью: на Аню даже не взглянул, когда она, проседая в снегу, отправилась по сугробам в свою котельную.

– Врубились! – с той же мрачной, почти даже злобной сосредоточенностью, с ходу скомандовал Яша.

«Будет сегодня!» – переглянулись Базиль с Ерохиным.

Ревет электропривод... Надсадно скрежещет трос лебедки, многотонным камнем ахает вниз элеватор, бряцают запоры замков, звенит как будто выстреленная вверх свеча, с бешенством набрасывается на тело свечи автоматический ключ, сотрясая глубинное нутро буровой вышки – шум, грохот, скрежет, звон, рев моторов, сипение пара, бряцание замков и цепей, безжалостный северный морозец, жгучие нахлесты ветра – и темп, безостановочный темп, ускоряющийся темп работы... Под ногами надоедливо взростает наледь, Яша с остервенением бьет каблуками кирзы по обкатистому нахольмию – летят по сторонам брызги льда. Ноги сейчас как бы живут отдельно от бурильщика, им надо – они и следят, скользко или твердо на рабочей площадке; самое главное – твои руки и твои глаза: руки и глаза бурильщика – его судьба.

– Спуск-подъем! Врубились!

Полувзгляд первого помбура: «Базиль вас понял». Разудалая улыбка третьего помбура Сашки Ерохина, жест Вовчика на «полатях» – вахта готова к подъему инструмента, много слов не надо.

Яша врубает рычаг – болванка элеватора стремительно несется вниз; легкие довороты рычага – умиряется бешеный танец скорости, элеватор плавно наплывает на торчащую из скважины свечу. Базиль с Сашкой толкают замок на тело свечи – щелкают затворы, свеча захвачена. Новый поворот рычага – со скрежетом и стоном потянул элеватор из чрева земли громадину двухтысячечетровой колонны, вытянул на длину одной свечи – на двадцать четыре с хвостиком метра, – и тут уж стоп, родная, Яша дожимает тормоз до упора. Только еще содрогнулась свеча от резкого толчка остановки, а уж Базиль на своем пульте дает ход автоматиче-

скому ключу, со змеиной стремительностью бросается ключ к свече, железными челюстями перехватывает ее горло и ловко, вертко, как лампу из патрона, выкручивает свечу из колонны. А уж там, наверху, на «полатах», Вовчик захлестнул свечу жгутом, будто аркан на нее набросил. Поднялась малость свеча наверх, нижний ее ок-рай обхватили Базиль с Сашкой и, налегая телом, прижимаясь брезентухой к синюшной, в потеках раствора, родной свечечке, загнали торец в свободный угол площадки. Еще дожим рычага – свеча плюхается на свое законное место, а сверху, на «полатах», Вовчик подтягивает уже верхний окрай к себе и пристраивает его вдоль «пальца». Одна свеча на месте.

Свеча за свечой, минута за минутой, час за часом, без отдыха, без перерыва на обед, в задубевших брезентухах, чумазы, с паутинцей морозного инея на бровях и ресницах, обожженные ветром, с растекающейся ватностью в мышцах, ребята выдают на-гора всю много-тонную громаду разъемного в свечи инструмента, пока не проклевывается из зева скважины долгожданное долото...

– Базиль, новое!

Открутили старое долото – а новое не подходит. Яша попробовал резьбу на ощупь.

– Резьба дрянь. Меняем переводник.

Сменили.

– Спуск, ребята. Врубились!

Девяносто свечей, громада метров и металла, девяносто сигарообразных спаренных труб нетерпеливо ожидали, когда их одна за одной вгонят в глубинное чрево скважины. Ничего не поделаешь – через каждую сотню метров приходится поднимать и опускать инструмент – менять долото. Не заменишь – не забуришься дальше, заменишь – продвинешься внутрь земли на сотнягу метров.

Яша «стреляет» элеватором ввысь, Вовчик наверху загоняет свечу в мертвый по хватке замок, Яша легонько вирает свечу, а в это время Базиль с Сашкой накатывают свечу на резьбу турбобура. Яша врубает ключ – свеча, как будто намашенная внутри, прокручивается в замке.

– Не берет! Мать твою... – ругнулся Базиль.

Яша вывел ключ в сторону, захлестнул инструмент в скважине пневмоклиньями.

– Проверь «сухарики»! – показал Базиль. – Да не так, не так... – пробурчал недовольно и сам шагнул к автоматическому ключу и вдруг неловко поскользнулся, задев рукой трос...

Слабо закрепленный в проушине, боковой крюк резко сорвался и с лету ударил его по голове, чуть ниже каски; веером брызнула кровь.

– Сука-а... – захлебнулся стоном Яша, горестно сморщившись, не понимая еще, что с ним случилось. И тут же, как подкошенный, повалился на колени; тело его обмякло, повиснув на инструменте.

– Чего стоишь, дура! – заорал Базиль на ослотившего от страха Ерохина. – А ну, держи... – Подхватив Яшу под руки, они стащили его с инструмента и положили прямо на залитую раствором площадку.

– Платок! Ну! Или... чего там...

Базиль сдернул с Яши каску, кровь, казалось, хлестнула из раны ручьем.

– Живей, ну... копаешься-а-а!..

Сашка скинул с себя робу, дерганул с головы свитер, рубаху, взялся за майку...

– Рубаху... давай рубаху!

Базиль распластал рубаху на длинные лоскуты и, как мог, обмотал Яше голову.

– Братцы, чего такое?! – По лесенке, с «полатей», как кошка, свалился на площадку Вовчик.

– Тихо, не ори... не видишь?! – прикрикнул Базиль. – А ну, взяли... Стоп! – Сам себя остановил Базиль. – Сашка, дуй к Ане. Скажи... понял?..

Сашка кивнул и кубарем скатился вниз, побежал к котельной.

Базиль с Вовчиком подхватили Яшу и осторожно понесли с вышки; верхняя губа у Вовчика прыгала.

Они еще только подносили Яшу к будке, когда увидели, как из котельной, перемахивая сугробы, в расстегнутой настежь телогрейке, без шапки, бежала к ним Аня.

Она налетела на них как коршун, вцепилась в Яшу, им стало не под силу, и они опустили его на землю, на снег.

Аня упала с ним рядом, на колени, так и не выпуская из окостеневших рук брезентухи Яши, впиваясь взглядом в серо-мглистое лицо, словно пронзая его мольбой: «Что такое, что случи-и-илось, что-о?!»

Наконец, когда ее прорвало, и она дико закричала:

– Не хочу, не хочу-у!.. – они, не обращая на нее внимания, разом подняли Яшу и понесли в будку.

– Вызывай машину! – Базиль жестом показал Сашке Ерохину на «Теслу». – Скажи: так и так...

– Ага, понял... – Руки у Сашки дрожали.

* * *

– Я думала, это все... конец... Я бы умерла.

– Ну что ты... – Он благодарно, ласково гладил ее тяжелой ослабевшей рукой. – Ну, ударило разок... бывает.

– Ты не видел себя... Как смерть был.

– Скажешь тоже, – улыбнулся Яша какой-то детски недоверчивой, удивленной улыбкой: он как-то не представлял себя мертвым. – Ну, потерял сознание... а вы уж... наводумывали...

– Ты не понимаешь... Я... я бы не выдержала... я не знаю, что бы с собой сделала. Я не хочу больше, не хочу, не хочу! – На кончиках ее ресниц задрожали слезы.

– Глупая... Ну, я же живой? Ну и вот... и не надо плакать, не надо расстраиваться, моя родная.

– Господи, если бы ты знал... вся душа перевернулась во мне. Так и пронзило: «Что же я наделала?! Это я, я! Он из-за меня... я замучила его...»

– Ну, вот еще... случайно вышло, поскользнулся... сам виноват, крюк не закрепили.

– Ничего ты не понимаешь. Ничего...

Он гладил рукой ее волосы, а она с каким-то тайным испугом и одновременно с прорвавшейся наконец открытой нежностью в глазах вглядывалась в его лицо, как бы не до конца еще веря, что все обошлось. Ну, полежит день, другой... а там выйдет снова на работу, рана неглубокая; крови немало потерял, ослаб, а в остальном все такой же, как будто и не случилось с ним ничего. Яша, Яша...

– Я хотел тебе сказать...

И как прежде, как совсем недавно, осторожный нежный ее палец лег на его губы:

– Не надо...

Он вдруг разом, глубоко задохнулся от этого тихого, ослабевающего на излете шепота, потянулся рукой к ее горячей, истонченной муками последних месяцев шее, обвил ее крепко, желанно, и она приняла его ласку, склонилась к нему, улыбаясь, как в тумане, плавающей, плывущей перед его глазами улыбкой, смотрела на него как на маленького ребенка, заранее прощая ему все его глупости из-за безмерности своей любви, и взгляд ее был полон не только нежности, но и как бы легкой усмешки, небольшого подтрунивания, но вскоре все это расплылось, растаяло, как только она почувствовала вначале слабый, а затем все более забирающий ее озноб, губы их слились, и ничего уже нельзя было понять и осознать...

В эту ночь она так и не смогла уйти от него.

А дома ее ожидало письмо, которое она распечатывала утром с виновато сжавшимся сердцем:

«Здравствуй, милая наша Анечка. Сил нету больше сдерживаться, потому пишу тебе все как есть. Ты не подумай, што у нас тут што плохо, наоборот, мы живем с Алешкой в веселости и довольны премного, хужее другое, сны мне разные с ужасями снятся, токо не об том сейчас и речь, раз-болталася... язык, недаром люди говорят, он без костей у нас. Приходил к нам мужчина милиционер, и после сама я была у начальницы в эске, которая по ордерам, заладили в один голос, штоб мне из квартиры, Анечка, уйти, а как ты приедешь, скажешь, как, мол, мама, ты уехала, об том они не думают и не печалются. Еще побывала у Лиды, ты не обидишься, кто старое помянет, тому, говорят, глаз вон, она посоветовала, пиши скорей Ане, а срок ее кончится, пускай приезжает, а то будто бы квартиру вовсе отберут, а твои слова, што ты здесь родилась и никуда отсюда не съедешь, умрешь тут, как твои отец с мамкой, хотя не дай Бог, такие слова твои я сроду помню и потому пишу тебе, штоб ты все знала и решила б, как тут надо. А кабы приехала, то и Алешка был бы рад несказанно, потому, когда Марья Ивановна, учительша, говорит, завтра-де, детки, родительское собрание, очинно ему хочется, раз папки его дорогого нету, штоб хотя мамка посидела за партой с другими всеми родителями. Учиться он шибко старательный, но много разных мыслей в голове, от которых хмурится, а мне, старой, догадаться чаще невдомек, получается, живем хорошо, а будто и плохо. Измучился он душой по тебе, одно слово. А меня наискось слушается, говорит, ты, бабушка, прожила без арифметики, я тоже проживу. Нетто нынче так можно рассуждать. А в другом во всем у нас тишь и порядок, ждусь не дождуся весны, охота по земле потоптаться, кожа на ногах зудит – просится по земле-матушке пройтись... Вот хотя и то, куды без огорода я буду, и Алешке без него тоже некуда, с мальства это куда как худо, а в другом месте и без земли остануся, хотя не знаю, как это и можно. Много не надо, а без немногу нельзя, хотя бы штобы с крылечка повидать, как зацветает по лету картошка. Так што Лидка говорит, Аня пускай долго не думает, а то тута квартир как повсюду не хватает, могут враз забрать, ино не заявится, а мне тогда уйти придется беспрременно, хотя куда уходить, сама знаешь, без вас мне как без белу свету. На этом кончаю, крепко целую и с большим душевным приветом к тебе – мама с Алешкой».

Глава третья

Аня возвращалась от судьи, с трудом, в тяжелый полунаклон снимала с ног боты и, чувствуя себя вконец разбитой, густо дыша от непривычной телесной грузности, осторожно пристраивалась на диван. Еще не знали, кто у них будет, Алешка или кто-то другой, а уж он всю давал о себе знать. Аня лежала на диване, распахнув настежь платье-халат, и какое-то время в облегчении ожидала, когда сердце ее само по себе немного успокоится. С каждой секундой дышать становилось полегче, и какая-то как будто истома, но не истома, а томящая изнутри тяжесть наконец оставляла ее. Аня глубоко, порывисто делала два-три полных вдоха, воздух был так плотен, что даже в горле саднило, а через некоторое время все же легчало. Кожа с выступившими на ней капельками пота становилась прохладной, и явственно ощущалось, как она, подсыхая, колюще сжималась и натягивалась на животе. Удивленная до чувства недоверия к видимому, Аня, как и много раз до того, с холодящей тревогой смотрела, как округлый, большой живот вдруг начинал бугристо, волнами ходить, и, что самое странное, каждый раз в другом месте, будто ребенок там внутри крутился и кувыркался, как ему когда нужно. Все-таки до жути странно было и непонятно, что он там давно живой, настоящий, с ручками и с ножками, ест, пьет и спит... и так иной раз чудно и загадочно это представится, что голова вдруг кругом пойдет: надо же, не было никого, никакой жизни, ничего... и вдруг... В такие секунды

Аня проникалась особенной нежностью к Кольше, тут было так, словно это он, Кольша, и есть главный виновник чуда. И сейчас, когда она с прежним любопытством вглядывалась, как нетерпеливо бьется в ней ребенок, к всегдашнему ее чувству умиления и нежности прибавлялось ощущение горькой обиды за человеческую жизнь. Неужели он родится только для того, чтобы потом умереть? Господи, как же это обидно...

Ребенок в животе слишком растревожился, требовательно и сильно бил ножками, как будто недовольный чем-то, хотя чем ему быть недовольным? Аня улыбнулась, и в этой ее улыбке было все-таки столько материнского счастья, гордости собой, что, конечно же, никакие мысли о смерти не могли ни смутить, ни замутить ее состояния надолго. Пусть хоть что, хоть как, но что же делать, если она счастлива, если так надо, если так хочется, если без этого она уже и не представляет своей жизни. Аня улыбнулась тихой, умиротворенной улыбкой, вместе с физическим отдохновением после всей этой мышинной и обидно-бестолковой беготни пришло на душу успокоение, хотя в иные минуты, когда она как бы вдруг сознавала, в какие же мгновения ей бывало покойно и светло на душе, ей становилось страшновато от собственной жестокой беспамятности, что ли, от того, что она способна ощущать счастье и радость даже тогда, когда у нее, в сущности, такое большое горе. Жизнь в ней была сильнее, чем смерть матери, и вместо того, чтобы представлять жестокой смерть, Аня представляла жестокой себя и свою жизнь. Но в конце концов все эти мысли мешались в голове, в них просто не было ни выхода, ни облегчения, и сердце ее, отяжеленное счастьем скорого материнства, окатывалось волнами все же глубоко отрадного волнения.

С шумом хлопнула входная дверь. Аня вздрогнула, всполошилась, услышав голоса; быстро запахнула на животе халат и, невольно охнув, с усилием привстала на диване. И в этот момент, когда она, сидя на диване, нащупывала ногами тапочки, а руками, как от боли, обхватила крест-накрест живот, но не от боли, а просто для удобства, в комнату влетел Кольша, а за ним вошла Лида.

– Вот, Анют, Лидуха тебе сейчас все растолкует!

– Здравствуй, Лида, – улыбнулась Аня.

– Да сиди ты, сиди, – обеспокоенно и быстро заговорила Лида, – вот еще, гостя нашлась, чтоб из-за меня вставать. – И как бы с завистью, нараспев добавила: – Ань, а тебе иде-е-ет!.. – И приложила ладошки-лодочки к своим щекам: – Ты така-ая-я... дородная, как булка! Честное слово! – Лида звонка рассмеялась, и смех ее был приятен, как весна, которая стояла сейчас на дворе – и там и тут чувствовалась свежесть, беззаботность, звончатость.

– Я все уже знаю! – затараторила Лида. – Слушай, только так: когда пойдешь к директору, обо мне ни слова. Обо мне вообще никому ни-ни... поняла? Потому что, если узнают, тогда делу каюк... короче, когда придешь, главное, чтоб он тебе резолюцию черкнул: мол, не согласен там или категорически возражаю, поняла? А то все эти заявления в суд будут как слону дробинка. Надо, главное, чтобы основание было...

– Ну да, он тоже мне сказал... говорит, а какое у вас, собственно, основание?

– Во-от! – весело подхватила Лида. – Правильно! Они-то вам морочат тут голову, а вы без подписей слабаки против них... у вас и заявление-то в суд не примут. Что ты! Они тут все знают, им главное – квартиру заполучить, а там хоть трава не расти. Завод расширяется, жилплощади не хватает, а ваша квартира – пустует. Почему бы ее не забрать. Правильно они рассуждают?

– А что ж правильного, если несправедливо? – возмутился Кольша.

– Это другой вопрос, совсем другой вопрос, Коленька, – как учительница ученику снисходительно сказала Лида. – Вот представь сам. К нам в юрисконсультацию завода идут без конца люди. А по какому вопросу? На девяносто процентов с жильем. И завод, конечно, всеми способами изыскивает площадь. А с такими, как вы, которые, по существу, не живут в поселке, у нас одна задача – поскорей разделаться. Вы как балласт для нас.

– Понятно, – усмехнулся Кольша.

– И учти, Ань, обо мне ни слова, нигде, – снова забеспокоилась Лида. – А то получается, я против своего завода пошла.

– Не против завода, а за справедливость, – вставил Кольша.

– Ишь какой борец за справедливость нашелся! – всплеснула руками Лида. – Скажи спасибо, по старой дружбе решила помочь... А то заладил— справедливость, справедливость...

– Ладно, ладно... – Кольша подошел к Ане, подхватил ее под руку и, помогая встать, повернулся вполоборота к Лиде: – Вам тут дай волю, вы все законы на свое местничество перевернете. И еще гордиться будете.

– И будем.

– Во-во, – усмехнулся Кольша. – А забыла, как в школе клялась: до конца, до смерти... за правду, за честность.

– А это и есть, Кольша, до конца, до смерти... Только тут правда жизненная, человеческая, а не придуманная за школьными партами. Тут, Коленька, жизнь.

– Да, недаром тебя в консультации держат да нахваливают. Ты же настоящий патриот завода!

– Спасибо. – Лида деланно-шутливо поклонилась и вдруг весело, легко рассмеялась. – Ну, пошли, что ли? Вы к директору, а я...

Втроем они вышли на улицу, и так на них пахнуло весной, талым снегом, ласковым теплом солнца!

Директор завода, прочитав заявление, даже и разговаривать не стал.

– Я этими вопросами не занимаюсь. Зайдите к моему заместителю по быту.

– Но я... – начала было Аня.

– Я вам еще раз повторяю, этими вопросами занимается мой заместитель Глебов. Всего хорошего, девушка.

– Но он...

Директор нажал на кнопку, вошла секретарша.

– Следующий, пожалуйста, – сказал директор.

Секретарша, кивнув, вышла; Аня, посидев две-три секунды в замешательстве, забрала со стола заявление и, тяжело переваливаясь, хотя и стараясь скрыть это, направилась к выходу.

– Ну что? – спросил Кольша.

– К заместителю послал.

– Но ты ему сказала, что ты...

– И слушать не хочет.

– Ты бы ему...

– «Ты бы, ты бы»... Говорю тебе, не слушает, послал к заместителю. Девушка, а где тут у вас Глебов сидит? – спросила Аня у секретарши.

– В конце коридора направо. Вторая дверь.

– Спасибо. А как его зовут, не скажете?

– Кого? Глебова? Сергей Сергеевич.

Сергей Сергеевич Глебов принял их, прочитал внимательно заявление. Взглянул на Аню. Перечитал заявление еще раз.

– Не могу подписать, – сказал спокойно.

– Тогда поставьте свою резолюцию. – Кольша привстал и напористо указал пальцем: – Вот здесь.

Глебов улыбнулся. У него была хорошая, добрая улыбка и какие-то неожиданно грустные глаза.

– Наверное, считаете нас страшными бюрократами? – продолжал улыбаться Глебов и одновременно как-то задумчиво посматривал в окно.

– А уж это наше дело, кем мы вас считаем. – Кольша и не думал принимать игру Глебова в вежливые улыбочки-ухмылочки.

– Ответьте мне на один вопрос. Только откровенно. – Глебов посмотрел Ане в глаза. – Разве вы вернетесь в поселок после окончания техникума?

– А вот это и вовсе наше дело, – опередил Аню Кольша. – Ваше дело – отказать нам или подписать заявление. Вот так.

– Ну а все-таки, Анна Борисовна?

Аня слегка покраснела, услышав свое отчество, непривычно показалось.

– Я... согласна со своим супругом. Квартира наша, и нам нужен ордер. А все остальное только разговоры...

– Та-ак... – протянул, как бы взвешивая что-то, Глебов. – Ну, хорошо... давайте просто поговорим.

– Странно, мы к вам с заявлением, вы к нам с разговорами, – не выдержал Кольша. – Вы бы лучше резолюцию поставили, вот здесь. Да, да...

Глебов посмотрел на Кольшу долгим пристальным взглядом, и в этом взгляде было больше раздумия, чем укоризны или неодобрения.

– Поставлю, поставлю, молодой человек, не беспокойтесь. Только вот поговорить с вами мне все-таки хочется. И вот почему.

Но ни Аня, ни Кольша не откликнулись ни единым движением на это «почему», в кабинете на какое-то время повисла тишина.

– И вот почему... – задумчиво повторил Глебов. – Конечно, я понимаю, Анна Борисовна, у вас большое горе, умерла мать. Я вам глубоко, искренне сочувствую. – При этих словах губы у Кольши иронически растянулись. – И поверьте, я говорю искренне, – продолжал Глебов. – Но... жизнь есть жизнь. Разве на так?

Как-то непонятно было, нужно ли и можно ли отвечать на такой вопрос, так что в кабинете опять повисло молчание.

– Вы и сами пришли сюда именно поэтому. Потому что жизнь – это жизнь. Только так... – Глебов многозначительно обвел их взглядом. – А теперь взгляните на это дело другими глазами. Вы оба студенты, учитесь в техникуме. И для нас важно, вернетесь ли вы сюда, к нам в поселок? Спору нет, вы оба вписаны в ордер, и вы, Анна Борисовна, вправе претендовать на то, чтобы ордер был переписан на ваше имя. Но... И вот здесь начинаются «но». Квартира у вас какая? Трехкомнатная. Площадь? Тридцать три и семь десятых метра. А семья у вас? Два человека. Вы просто не имеете права вдвоем занимать такую огромную площадь. Кроме того, вы учитесь. Живете не у нас, а в Свердловске. Значит, здесь впустую пропадает не только жилье, но и приусадебный участок, огород, сад, сарай, сеновал, конюшня. Заметьте, для нашего заводского поселка это немаловажное обстоятельство – свой огород, свой сад. Поэтому что мы вам предлагаем? Мы предлагаем вам отдельную двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Взамен вашей. В новом микрорайоне. Чем вас не устраивает такой вариант?

– Скажите пожалуйста! – возмущенно привскочил со стула Кольша. – Мы что сюда, торговаться пришли?! Или вы думаете, что нас можно, как пятилетних, уговорить на что угодно? А вообще-то здорово вы тут сработались... Вы хоть знаете, что нам сначала предлагал ваш Шляпкин?

– Кто?

– Шляпкин... Фу, черт, не Шляпкин, а этот, как его... начальник ЖЭКа... Шляпников! Глебов вдруг от души, весело рассмеялся:

– А, Шляпников! Фрол Данилыч! Ну и что же, что?

– А то, что когда у Анюты мать умерла, он уже на третий день тут как тут с дурацким своим предписанием – на основании того-то и того-то вы обязаны в двухдневный срок освободить квартиру и занять комнату по улице Розы Люксембург.

– Неужели? – смеялся Глебов.

– А вы будто не знаете? – язвительно усмехнулся Кольша. – Он, видно, совсем из ума выжил, этот ваш Шляпников! Ведь полнейший болван, а вы его держите... почему? Да потому, что вам выгодно негодя под руками держать: чуть что – можно все на него свалить.

– Шляпников, конечно, человек с... замашками недалекого прошлого, но что поделаешь, – перестал смеяться Глебов и даже вздохнул, – пока ему нет замены. Никто почему-то не соглашается работать на его месте.

– И, значит, ему можно делать все что угодно? Так любую незаконность и подлость можно оправдать его гадким и вздорным характером, его холуйскими склонностями! Я ему показал комнату!.. Взял его за шиворот и выбросил из квартиры. И что же? Через два дня притащился с маслеными своими глазами, оказывается, ошибся... не комната нам положена, а однокомнатная квартира. На той же самой улице, Розы Люксембург. Вот подлец!

– Ну, это уж вы слишком... – Глебов смотрел на Кольшу немного странным взглядом: то ли восхищался его безрассудной откровенностью, то ли жалел его за эту, в общем-то, не всегда безопасную смелость характера.

– А чего слишком-то? – не унимался Кольша. – Вот смотрите, сегодня пришли – а вы уже, оказывается, двухкомнатную предлагаете. Наши акции повысились. Разве не интересно? Это же настоящий торг идет, да торг-то – фальшивый.

– Фальшивый?

– Фальшивый. Потому что, во-первых, нас не двое, а трое. Справочка такая имеется от врача. Видите Анюту? Во-вторых, зачем же нам двухкомнатная, когда нам по закону принадлежит трехкомнатная? И, значит, дел-то всего – переписать ордер с матери на дочь. Только и всего. А что там сад, огород или что мы учимся, тут никому никакого дела быть не может. Мы чужого не просим, а вот свое у нас отобрать хотят. Причем незаконно.

– А площадь вам такую, между прочим, иметь не положено, – улыбнулся Глебов. – Даже и на троих. Тридцать четыре почти метра – это уж слишком, вы не находите? Придется подселить жильцов. И где вам будет лучше – в трехкомнатной с жильцом или в двухкомнатной отдельно?

– Нам, Сергей Сергеевич, будет хорошо в своей трехкомнатной, без всяких жильцов притом. Девять на три умножьте – сколько будет? Двадцать семь. Сколько остается? Шесть и семь десятых метра. А закон-то знаете? Если излишки меньше нормы на одного человека – за них просто дополнительно платить полагается, для подселения-то метров недостаточно. Знаете такой закон?

– Вы, я вижу, народ действительно грамотный, – продолжал улыбаться Глебов. – Это приятно. Честное слово, приятно иметь дело с людьми знающими. Но скажите все-таки откровенно – зачем вам, молодым людям, такая огромная квартира? С садом, с огородом, с сараем, с сеновалом? Неужели вы намерены возиться в огороде? Неужели будете пользоваться ну хоть сеновалом? А?

– А это, Сергей Сергеевич, как уж наша жизнь сложится. Все может быть. Вам ведь главное что? Вам не надо грех на душу брать, нужно наложить справедливую резолюцию – «не возражаю».

– Нет, не могу подписать, – с тем же спокойствием, с каким в первый раз сказал об этом, повторил Глебов, простовато и хитро улыбаясь-усмехаясь как бы даже и над самим собой.

– Почему? – Кольша смотрел на Глебова уничтожающим взглядом.

– Не имею права.

– Не имеете права справедливо поступить?

– Не имею права нарушать наши порядки.

– Что же это за порядки, если они заранее противоречат закону?

– Закону они не противоречат. Если мы неправильно поступим, закон нас поправит, но обижать заранее рабочих завода – не в наших правилах.

– Ага. Значит, чтобы обеспечить жильем рабочих, вы не жилищное строительство расширяете, а незаконно выживаете из квартир ненужных вам людей, ну хоть нас, «бедных» студентов?

Глебов рассмеялся, как-то радостно, одобрительно покачивая головой:

– Мы и строительство расширяем, и изыскиваем все другие возможные пути. Вас же не на улицу выгоняют, вам предлагают отличный вариант. Вариант, кстати, который должен вас устраивать по всем статьям.

– Ни по одной статье он нас не устраивает, – жестко ответил Кольша.

– Ну, что же... – Глебов спокойно протянул руку к заявлению, снял колпачок с авто-ручки. – Вот здесь я вам пишу свою резолюцию: «По существу заявления отказать. Взамен трехкомнатного особняка обеспечить немедленно двухкомнатной квартирой со всеми удобствами. Зам. директора Глебов». Пожалуйста, – и протянул Ане заявление.

На лице у Ани проступили блекло-желтые пятна.

– Теперь вы отправитесь в суд? – Глебов смотрел на них с легким подтруниванием.

– Конечно! – выпалил Кольша.

– Желаю успеха, – улыбнулся Глебов, и бесконечная его улыбочивость и доброта ровного, спокойного тона действовали сейчас раздражающе.

– До свиданья!

– Знаете что... – вдруг сказал Глебов задумчиво, когда они уже встали и хотели уходить. – А ведь я, Анна Борисовна, очень хорошо знал вашего отца.

Эти совсем неожиданные для Ани слова с какой-то особой болью и обидой отозвались в ее душе, она ослабленно опустилась на краешек стула, верхняя губа у нее задрожала, а глаза налились тонкой слезной пленкой.

– И даже больше, – с грустью протянул Глебов, – когда-то я учился у вашего отца, в ремесленном училище. Человек он был... редкий был человек!

Это уж совсем с трудом слушалось Аней, горячая волна обиды, обиды непонятно на что и из-за чего, поднялась со дна души. Одно было хорошо – Глебов продолжал говорить, и эти минуты его задумчивого, тихого говора словно специально давали ей время на передышку. Кольша стоял в дверях, недоверчиво глядя на Глебова.

– Вы тогда, после войны, только-только из Свердловска приехали: Борис Аркадьевич, мама ваша, Нина Васильевна, и вы, Аня, тогда еще во-о-от такая... – показал рукой Глебов, и грустные его глаза осветились мягким светом. – В Свердловске Борис Аркадьевич в чем-то проштрафился, уж не знаю в чем, и приехал к нам. Учителем в школе отказался, пришел в ремесленное. Преподавал нам математику, историю и труд. Вот какое сочетание! – Глебов радостно, с какими-то тайно-горделивыми нотками в голосе рассмеялся. – Подзывает меня раз к себе: «Сергея, – говорит, – ты мне вот что скажи, доволен ты своей жизнью или нет?» – и смотрит на меня серьезно так, будто я не пацан, а ровня ему. Я рот-то открыл, а сказать ничего не получается. – Глебов снова рассмеялся. – «Вот то-то и оно, – говорит Борис Аркадьевич и вздыхает при этом, – трудно на такой вопрос ответить. Самый трудный вопрос в жизни». Не знаю почему, но это я запомнил крепко, а многое другое, конечно, забыл. Вот такие дела...

– Ну, мы пойдем... – тихо сказала Аня.

– Да, – сказал Глебов, – я тут с воспоминаниями своими... не ко времени. Хотя, знаете, Анна, не сейчас, так когда еще вы сможете услышать эти слова об отце? К сожалению, все мы смертны. А любили мы его очень искренне.

– До свиданья, – как-то почти шепотом проговорила Аня.

– До свиданья! – с прежней жесткостью поддержал ее и Кольша.

– Ну что ж... – развел руками Глебов. – Не поймете – обидитесь, поймете – вам от этого тоже не легче. Довольными в жизни никто не бывает. Ваш отец хорошо мне это объяснил. До свиданья!

Кольша с шумом захлопнул за собой дверь.

– Тоже мне, бюрократствующий лирик! – со злобой вырвалось у него.

– Не надо... – Аня подняла на него умоляющие глаза.

Через день Аня отвезла документы в суд. Домой возвращалась пешком; то ли от пережитых волнений, то ли просто от усталости чувствовала себя худо. Тянуло низ живота, ломило поясницу, а иногда так стреляло в левом боку, что приходилось останавливаться, хватать ртом воздух. Скорей всего, где-нибудь прохватило сквозняком, весна – она коварная. А на автобусе ехать – еще бы хуже было, трясет на ухабах – живот девать некуда. Да и вообще муторно на душе, что ни говори, а жизнь устроена жестоко: о справках разговоры, о метрах, о законах и беззаконии, а мамы... мамы – живой – как будто и не было никогда, она так – приложение к справкам и выпискам. И сама поневоле начинаешь вдруг думать о ней как-то вскользь, мимоходом, постольку-поскольку. А на самом деле...

Резко вступило в левом боку, Аня, охнув, остановилась, припала на левую ногу и досадливо сморщилась. Кое-кто из прохожих остановился: «Вам плохо?» – «Нет, нет, ничего...» – сквозь боль смущенно улыбалась Аня, показывая рукой: проходите, мол, проходите, это я так... На улице, среди совершенно незнакомых тебе людей, всегда почему-то находится доброжелательность, участие, – как все-таки чувствителен, почти сентиментален русский прохожий; будь он уверен, что о нем думают сейчас как дома, воспринимают его разом, вместе с его слабостями – ни за что бы не отважился на участие, твердо зная, что ему просто-напросто не поверят. Да, улица для русского человека, как и поезд, как и дом отдыха, как любое общественное место, – это арена для проявления рыцарства, по которому постоянно тоскует сентиментальная душа. А коснись конкретного дела, зайди в конкретный кабинет, обратись за конкретной правдой – и покатилося колесо... «Нет, нет, ничего...» – продолжала сквозь боль сморщенно и жалобно улыбаться Аня, и прохожие нехотя, не сразу проходили мимо, оглядывались. Милые прохожие, они искренне готовы сейчас к рыцарству, и не стоит иронически относиться к ним только потому, что... у тебя горе и тебе плохо, но это еще не причина не доверять людям, а тем более – озлобляться.

Аня пошла потихоньку дальше. На ней была голубая вязаная шапочка и темно-зеленое в черную крапинку пальто; сзади, если бы не явно ощущаемая походка вразвалку, ее можно было бы даже принять за школьницу. А спереди... да и спереди она была слишком еще молода на вид, и живот ее, хотя и большой, но ладнокруглый, даже подчеркивал ее юность. Она и вообще-то была молода, но как бы познала одновременно и горечь жизни, тем более что давно уже потеряла отца, а теперь – еще и мать...

Почему она так хочет, чтобы квартира отца и матери осталась за ней? Это было даже не желание, это, скорей всего, проснулся в ней странный суеверный страх... Страх чего, о чем? Как трудно было самой понять это, осознать. Вот пришло, оказывается, такое время, когда еще одно маленькое усилие сторонних людей – и она останется без того, что совсем недавно было всей ее жизнью. Всей жизнью? Ну а чем же иным? Ведь не лицемерие же это? Не ложь? Когда она думала о самой квартире, ей было почти все равно, какая это квартира – трехкомнатная, или двухкомнатная, или еще какая-то, просто это было то единственное место на свете, где она росла, где выросла, где стала взрослой и где, кажется, каждая вещь, каждый уголок дышат ее детством. Она была не крестьянской дочерью и не была дочерью рабочих, отец всю жизнь учительствовал, а мать то совсем не работала, а то вдруг от тоски, от чувства гнетущего неудовлетворения жизнью вспоминала, что она по образованию химик, устраивалась на завод в химлабораторию и работала, пока ей это не надоедало, – ее всегда угнетало однообразие. Так вот, Аня была дочерью не крестьян, не рабочих, но земля... земля, которая во взрослой юности

была для нее огородом и садом, а в раннем детстве – еще и так называемым «дальним огородом» с обязательной делянкой в сосновом красногорском лесу или в березовой кособродской чаще, – земля вообще... эта земля была для нее чем-то таким, что нельзя было забрать у нее безболезненно, предложив взамен современную квартиру со всеми удобствами. Когда она глубоко задумывалась об этом, ей даже страшно становилось: ведь может так случиться, что у нее не останется не то что там квартиры или огорода, а не останется места, полного живой памяти об отце, матери и памяти о ее собственной жизни вплоть до теперешней секунды. Это было страшно! Как бы правильно ни рассуждал хотя бы тот же Глебов о всех его заботах-перезаботах о рабочих завода, – куда же ей-то деваться со всей своей жизнью, полной личного глубокого значения и смысла? И главное: это мучительно-живое чувство сидело в ней так вязко и проявлялось с такой подспудной силой, что для нее не имело значения даже и то, будет или не будет она в конце-концов жить здесь и работать. Ей просто как бы заранее хотелось оградить это место от всех посягательств, а там будь что будет, – лишь бы на земле был уголок, куда, как теперь она почувствовала, должен тянуться человек, чтобы ощущать себя не безродным, не сиротой. И весь вихрь этих мыслей-чувств проносился в ней каждый раз как напасть; она только и делала, что думала об одном и том же, пока в конце концов какое-нибудь звено не выпадало из общей цепи мыслей и сама цепь катастрофически не рассыпалась, как распадается в калейдоскопе разноцветье камушков.

– Девушка, вам плохо?

– Что? Нет, нет, ничего. Это у меня так, бывает...

– Сына, дочь ждете?

– Сына, – улыбнулась Аня.

– Мы вот тоже сына ждали, а родилась дочь. Жена говорит: бракодел ты, – мужчина рассмеялся. – Хитра-а-я-я...

– Ага. Сама виновата, а на вас валит, – поддержала Аня. – Ой! – И вдруг снова невольно схватилась за поясицу. – Стреляет...

– Видать, уж скоро, – посочувствовал прохожий. – А имя-то придумали?

– Чего-чего, а имя-то давно готово. Алексей Николаевич, Алешка.

– В честь деда, что ли?

– Нет, так просто. Нравится обоим.

– Ага. Ясно. Ну, счастливо богатеть! – И прохожий свернул в свою сторону.

– Спасибо, – снова от души улыбнулась Аня.

Насчет Алешки они решили давно. А в самом деле – откуда? Уж и не вспомнишь. Верней, было так: перебирали, перебирали разные имена, и как-то само собой вышло – остановились на Алешке, а потом немного посмеялись: имя-то придумали, а вдруг девочка родится? Хотя, если уж всерьез, очень хотелось Кольше мальчика. А ей все равно, мальчика – так мальчика, девочку – значит, девочку.

Аня шла и даже подзабыла о своих болях, улыбаясь своим мыслям. Счастливая все-таки пора ожидает малыша – детство... Как бы она тоже хотела вернуться в детство хотя бы на минуту! Что вспоминается слаще всего? Весенняя суматошная беготня домашних, мама подает из подполья картошку, папа грузит ее в мешки и укладывает на телеге. Чернуха, приведенная с конного двора, настороженно косит темно-глубоким, как дыра, глазом, фырчит и дрожит, в нетерпении перебирая ногами, а ты стоишь в сторонке, сжавшись в комок, и смотришь на нее восхищенно-испуганно, как на чудо. Потом отец садится на телегу, а ты устраиваешься рядом, забираешься повыше на мешки и только и думаешь, как бы не кувыркнуться с груженной телеги вниз. Отец, понукая Чернуху, поглядывает на тебя развеселым таким, редким для него взглядом, бормочет какую-то мелодию. Пахнет терпким лошадиным потом, назёмом и сладким отцовским табаком, которым он набивает «козью ножку» и упоённо дымит, время от времени оборачиваясь к тебе с подмигом: «Ну что, Нюш, едем, да? Едем, едем...» – отве-

чает сам себе и смеется. Она помнила этот его счастливый смех, как будто слышала его сейчас наяву, и сердце ее страдальчески сжималось от безмерной любви к отцу, перед которым она поныне чувствовала себя в непонятно отчего так остро ощущаемом, неоплатном долгу. Дед, папин отец, тоже не был крестьянином, почти всю жизнь проработал подёнщиком на бывших демидовских заводах, и все же папа любил временную крестьянскую жизнь с ее заботами о земле, о крове, о хлебе насущном... Так ли уж нужна ему была картошка? Конечно, была нужна, особенно в послевоенные голодные годы, но главным для него было все же состояние взбодрённой и тревожащей радости, которую он переживал весной, когда страстно увлекался огородом, или летом, когда неделями пропадал на делянке, сам заготавливая на зиму дрова. В такие часы он часто мечтал о сыне, не раз подмигивал Ане: «Что, Нюш, неплохо бы тебе братца заиметь, а? Алешку какого-нибудь? Помощника нам?..» Боже, как же это она забыла! Вон, оказывается, откуда Алешка взялся, это ведь папа, папа когда-то все говорил об Алешке... Сердце у Ани совсем растревожилось, как-то никогда раньше она вот так явственно не вспоминала отцовские слова, там, на делянке, а выходит... это она надоумила Кольшу назвать сына Алешкой? Честное слово, не могла теперь вспомнить! А наверное, именно так, иначе откуда это совпадение? Аня даже улыбнулась, таким это показалось сейчас значительным и хорошим. Да, говорил, и не раз говорил отец: «Что, Нюш, неплохо бы нам братца заиметь, Алешку какого-нибудь, а?» И как она могла забыть об этом... Отец мечтал о сыне... значит, чего-то ему не хватало в жизни? Чего? Как странно говорил о нем Глебов... А ей отец всегда казался таким сильным, здоровым, веселым. Что-то безвозвратно ушло со смертью отца и матери, их больше нет, но есть хоть это... весенний день, ухабистая дорога, телега, мешки с картошкой, Чернуха, косящая сердитым бездонным глазом, и запах душистого табака, который до конца дней будет для нее острым напоминанием об отце...

Аня остановилась, отдышалась немного. Всегда вот так – чуть задумается, замечтается, ноги уже понесли сами собой. Ходьба разгорячила ее, в поясницу больше не стреляло, бока не ныли, и это было такое приятное ощущение – чувствовать себя здоровой. Правильно она сделала, что не поехала на автобусе, а пошла из суда пешком. Пусть они хоть лопнут все, а квартиру она не отдаст. Ее это квартира. Ее. И огород. И сад. Тут вся жизнь... Аня снова улыбнулась, вспомнив, как на огороде, когда они приезжали на место, отец разрешал ей босой бегать по вскопанной, уже слегка покрывшейся пепельной пленкой-корочкой земле. Ноги мягко проваливались в прохладную глубину и тут же бежали дальше, ступали на горячую пепельную корочку и снова проваливались; и так вживе вспомнилось теперь это ощущение: прохладно – горячо, горячо – прохладно. Да, сколько было в этом радости, как звонко-звончато она смеялась, а отец глядел на нее со стороны, улыбался и дымил сигаркой; и запомнилось почему-то солнце, яркий круг его, плывущий по-над лесом... ведь дальний огород их был в лесу, в сосновом бору.

Ну вот и магазин; свернуть за угол – и там уже их улица... Аня решила купить что-нибудь на вечер, да и бутылку винца можно прихватить. Сегодня обещала заглянуть Лида, свекровь придет, вот и случай отметить будущую удачу; а что все будет удачно, после встречи с судьей она не сомневалась. Не будь Лиды, тяжело было бы пришлось, законов – их много, попробуй разберись в них сама. А Лида быстро им все объяснила. Теперь все будет в порядке.

Аня купила сыру, колбасы, трески (чтоб быстро поджарить и на стол), бутылку портвейна. И потихоньку отправилась домой.

Ворота были распахнуты – значит, Кольша уже вернулся из Свердловска. Правильно или нет, но они решили, что ей лучше взять сейчас академический отпуск; Кольша и поехал оформлять документы. В самом деле, ребенка нужно поднять на ноги. Да и с квартирой как раз все уладится. А Кольша пока будет работать и учиться. Другого выхода не было.

Войдя в сенцы, Аня расслышала в квартире какую-то глухую возню. Распахнула дверь в большую комнату. Как раз в эту секунду, на ее глазах, Лида вlepила Кольше смачную оплеуху; сумка выпала из Аниных рук.

– Э-эх, Анька-а... смотреть тебе надо за своим дураком! Смотрите-еть!.. – с болью, протяжно и в то же время злобно, охрипшим шепотом проговорила Лида, укоризненно и насмешливо покачав головой.

– Как же... – вырвалось у Ани.

– Да это ничего, это я так! – быстро и фальшиво-весело заговорил Кольша, потирая рукой густо краснеющую щеку.

– Вот же мужичье! – с восхищенной брезгливостью сказала Лида. – Его на месте преступления застали, а он – «ничего, ничего, это я так...» – Лида схватила со стола свою сумочку. – Извини меня, Ань. Но... от кого, от кого, а от него никак не ожидала. Извини! – И хлопнула входной дверью.

Аня, закрыв глаза, стояла, прислонившись к косяку; сумка с продуктами тяжело давила ей на ноги, но она ничего не замечала...

– Анют... я... я не знаю... это я так... выпил малость на радостях... ну, и измучился просто... а так, ты же знаешь, я никогда... никогда...

...К вечеру Ане как-то трудно стало дышать; она лежала на диване, ни сердце, ни душа у нее не болели, наоборот, какое-то странное безразличие ко всему на свете растеклось в ней, как яд, и она бы, может, даже чувствовала сейчас отдохновение от всех своих тревог, потому что они вдруг разом оставили ее, если б не это – дыхание; дыхание вдруг стало даваться с трудом. Сначала ей просто хотелось вздохнуть поглубже, попрочувствованней, а потом как будто принялось давить на грудь, хотелось руками располоснуть рубаху, таким гнетом казалась даже рубашка, и Аня начала потихоньку захлипывать в себя воздух, как бы процеживая его сквозь зубы. Глаза у нее были закрыты, веки почернели, глазницы, особенно у переносья, провалились, на лбу выступили поблескивающие капельки пота. Ничего она уже не помнила и не хотела ни помнить, ни знать, не было и ненависти, презрения тоже не было, даже в первые секунды и минуты эти как будто обязанные появиться в ней чувства так и не появились, а просто поначалу было непонимание, неуяснение, а затем – обида, обида почти как у маленькой девочки, у которой была самая красивая, самая любимая игрушка, а ее вдруг на глазах отобрали и не просто выбросили, а раздолбали молотком вдребезги; была обида... а потом и обида как-то отошла прочь, исчезла, захотелось тишины, покоя, только покоя... Кольша – как странно – что-то говорил, говорил, говорил, а ей все на свете было уже безразлично, какое ей дело... вот бы только тишины и покоя, и долго-долго лежать с закрытыми глазами...

...И вдруг как-то сильно, жестко начало тянуть низ живота, живот затвердел, как камень, а поясницу словно тянули в двадцать жил – так она расстоналась и разнылась. «Аня, Анюша...» – слышала она, открывала глаза, но пот, стекающий со лба, мешал смотреть и видеть; как в тумане, плыло чье-то лицо, Аня напряглась, хотела понять и не понимала, откуда взялась здесь Александра Петровна, Кольшина мать, не понимала, но обрадовалась, застонала: «Мама... поясница, поясница...» – «Ты дыши, дыши, милая...» – шептала старуха, суетливо подкладывая под Анину поясницу подушки и подушечки, и в слезном тумане виделось ее морщинистое простое лицо, горящие состраданием глаза. Аня стала протяжно, глухо стонать, стараясь поначалу сдерживать себя, но боли в пояснице и в животе были такие резкие, что никаких сил уже не хватало бороться с ними, Аня стонала и протяжно вздыхала, иногда чуть приподымая голову над подушкой, стараясь немного, но привстать, чтоб хоть на секунду облегчить боли. А потом она уже ничего не слышала и не понимала, просто стонала, все протяжней, все голосистей, а что Александра Петровна грубо закричала на Кольшу, чтоб мчался за «скорой помощью», этого она уже тоже не слышала. И только когда наконец ее подняли с дивана и

понесли в машину, она почувствовала, что это все к какому-то облегчению, так нужно, так надо, ей стало получше, она забылась, хотя и продолжала стонать долгим, протяжным стоном...

...Алешку она родила семимесячным.

Глава четвертая

– Вы понимаете, самая главная задача сейчас, – Марья Ивановна подошла к доске и жирной меловой чертой перечеркнула написанный пример, – чтобы дети научились думать. А они, надо сказать, очень хитрые. И думать хотят не все. А что же они делают? Они просто-напросто автоматически копируют ход решения. Чуть только измени условия задачи – и они в тупике. Ну, например...

Петровна сидела за третьей партой, на месте, где обычно занимался Алешка, и напряженно следила за движениями учительницы. Что бы ни сделала Марья Ивановна, какое бы слово ни сказала, все казалось старухе необычайно значительным и важным. И хотя она почти ничего не понимала и всякий раз с затаенным, почти с детским страхом переживала, как бы учительница не посчитала ее вовсе никуда не годной для жизни с Алешкой, она все же сердцем доходила до сути, улавливала ее чутьем. Без счета раз пытался Алешка перехитрить бабуку, а она все же ловила его на нужном месте, он, к примеру: «И тут, значит, бабушка, я складываю, а потом вычитаю, и получается десять вишен», а она уж начеку: «Как же ты складаешь-то, когда вовсе тебе не известно, сколь там вишен в саду осталось? Ты мне не мудри смотри, а ну-ка раскинь мозгами да отвечай, как того по книжке требуется». Смотрит, верно, что Алешка схитрил, решить-то решил, а что к чему – понятия нету, как в классе, так и дома переписал. Верно Марья Ивановна говорит: это в них есть, в чертенятах, – хитрость, а вот охоты мозгами шевелить – на тетрадки не хватает, а на проказы, пожалуй, что и лишку. Чуть только не досмотрела за ним – как ветра ищи в поле, ни сладу никакого, ни уговору. И когда теперь Петровна слушала Марию Ивановну, она ой как душевно ее понимала и каждый раз сочувственно переживала за нее, потому как Алешек таких у нее сорок три головы.

– И еще одно, товарищи родители. Сейчас весна, детям хочется побольше бегать на улице, снижается их работоспособность. А год на исходе, не успели оглянуться, а уж кончается второе полугодие. Давно ли, кажется, они пришли сюда в первый раз? – Мария Ивановна улыбнулась, и родители радостно, оживленно ответили на ее улыбку гулом. – Так вот, нужно, чтобы во второй класс они пришли с хорошими навыками чтения. Не забывайте заставлять ребят как можно больше читать вслух. Пришел с улицы – «Вова, почитай нам вслух»; готовится ко сну – «Сережа, прочитай вот этот рассказ»; собрался гулять – «А ну-ка, как ты научился читать вслух?» Понятно, товарищи? – Родители одобрительно, понимающе загудели. – Все свободны. Александра Петровна, а вас прошу остаться на минутку.

Не сразу родители оставили Марию Ивановну с Петровной вдвоем, еще подходили к учительнице, спрашивали, жаловались, просили, интересовались, подобострастничали, умоляли обратить особое внимание... и для всех Мария Ивановна находила нужный тон, единственное слово. Когда наконец все разошлись, Мария Ивановна с улыбкой вздохнула:

– Горе с этими родителями...

– Да уж это, конечно... нелегко, – поддержала охотно Петровна.

– А вот без помощи родителей школа теперь никуда. Особенно в первом классе, – серьезно сказала Мария Ивановна. – Новая программа очень насыщенная. Детям нужна постоянная практическая помощь. В выполнении задания. В разъяснении непонятных или сложных вопросов.

– Вот и я говорю... тяжело нам с Алешкой.

– Кстати, я хотела вас спросить, только не обижайтесь... Мать Алеши не собирается домой?

– Только того и ждем обои. Уж Алешка все глаза проглядел, в окно глядячи.

– Вы понимаете, Александра Петровна... как бы это вам объяснить... – Учительница некоторое время грустно-сосредоточенно помолчала. – Меня вот что беспокоит в вашем внуке... не знаю, замечали вы это или нет...

– А што такое-то?

– Есть в нем, понимаете ли, безразличие к жизни, что ли... Или, может, просто я чего-то недопонимаю... Порой мне так и кажется – жить ему неинтересно, скучно. То он вял, рассеян или вдруг так сосредоточенно замкнется в себе – слова из него не вытянешь...

– Потому и не вытянешь, что больно настырным растет. Иной раз просишь-запросишься, чего там в школе у тебя делается, – сопит знай себе.

– Я не совсем о том, Александра Петровна. Может, ему дома ласки не хватает, доброго слова? Вы только не подумайте, что я обвиняю вас в чем-то, упаси Боже, но, может, за делом да заботой вам иной раз просто некогда обратить на него лишний раз внимание?

– Так это, конечно, сколько времени есть – все на него уходит, может, чего и не так сделаю... Уж не обессудьте, Мария Ивановна.

– Ну вот и хорошо. Будем считать – мы друг друга поняли. А за разговор не обижайтесь. Я давно хотела поговорить с вами об этом. Да все как-то стеснялась, что ли. Думала, как бы плохо не получилось...

Из школы Петровна ушла с саднящей тревогой на душе. Вроде она все поняла в разговоре и вроде что-то скрытное осталось в нем. В первый раз говорила с ней так Мария Ивановна. Вокруг да около, а получается, вроде даже это она, Петровна, виновата в чем-то. Обидно. Или просто слова сами по себе такие – не ухватишь их, не поймешь сразу. А все же остался какой-то осадок...

Дома Петровна первым делом переоделась, накинула вместо жакета фуфайку и поскорей в огород; в руках даже зуд стоял, так хотелось поскорей огородом заняться. Жилистые, натруженные за жизнь руки слегка дрожали, когда она в сарайке нашла лопату повострей и взялась за черенок. Хорошо б, конечно, подточить малость, да уж как есть. Подержала в руках лопату, как будто примериваясь к ней, улыбнулась. Нет, надо все же разок-другой пройти по лезвию, так оно негоже. И даже легче на душе стало, когда решила так. Вернулась в дом, вытащила в кладовке из-под стола инструмент в ящике. Ящик этот, знала она, когда-то Борис Аркадьевич сколотил, Анин отец, тоже вот мастеровой человек жил, любил порядок, основательность. Близко его знать Петровне так и не пришлось, помер раньше времени, а так бы хорошо сейчас с ним на пару в огород выйти, пройти по первой грядке. Видать, не суждено. Со вздохом и охом вытянула Петровна из ящика точило, пристроилась на крыльце, вжик-жи-ик, вжик-жи-и-ик... то искорка вылетит из-под точила, то блеснет на солнце освеженное лезвие... потеплело сразу на душе. Ничего не надо в жизни, а вот это надо: чтоб немного покопошиться, изладить какое-нито дело. Право, хорошо, что решила подточить, а поленилась бы – совсем другой расклад был бы. Старуха послунявила точило, перевернула лопату – и снова вжик-вжи-ик, вжик-вжи-и-ик... вовсе заблестало лезвие. Подняла лопату, попробовала остроту на палец. Звонкий звук, ширик-чирк, чирк-ширик... будто воробей весело чирикнул.

Теперь ладно, теперь хорошо. Убрала Петровна инструмент в кладовку, направилась в огород. Был там у нее свой заветный уголок. Оттуда она и думала копать начать. Это как и в старом доме, который снесли. Дом ей, конечно, ой как жалко, да что поделаешь? Жить уж в нем совсем невмочь было, развалился без хозяина. А вот огород еще жалей. Потому и здесь ей нравилось, у Ани, – огород привораживал. Ну, и все другое, конечно, тоже неплохо – и вода тут тебе, и отопление, и ванная Алешку искупать, особенно, когда крохой был. Без этого в

нынешней жизни хорошего мало, Петровна это понимала. Да и потом, главное: к чему им жить врозь, когда можно вместе? Петровна и держалась этого...

Малинник вокруг огорода она давно уже привела в порядок, сушняк повыдергала, землю подвзрыхлила, тесемки с перевязанных в пучки тычинок, чтоб зимой от снега не надломились, поубирала. Малинники стояли тугие, красно-шелушащиеся, матерые – любо-дорого посмотреть, а рядом свежие, прошлогодние побеги, еще не окрепшие, с зеленцой, с просвечивающей на свету мякотью плоти. Как раз с угла, где она сожгла малинный сушняк, Петровна и начала копать. Лезвие с приятным шипом, без натуги, по самый верхний край вошло в землю. Петровна улыбнулась, постояла немного, задержав ногу на лопате. И только потом сделала первый вскоп, перевернула землю, постучала по ней тыльной стороной, с чувством разбивая жирный наземный пласт на мелкие куски. И тут сделала второй закоп, с силой нажала ногой на лопату; земля с вжиком подалась, Петровна споро вывернула пласт наружу и опять разбила его лопатой. Добрая улыбка освещала лицо старухи.

Раз за разом Петровна все дальше продвигалась по гряде, припекало солнце, дул ветерок; старуха растянула фуфайку, скинула с седой головы платок...

– А вот простудишься, – услышала она.

Обернулась – махнула левой рукой:

– Нимало! А ну-к помог бы тоже бабке!

– Тебе хорошо. У тебя лопата есть. А у меня никогда ничего нету.

– Будет тебе, будет, – улыбнулась Петровна. – Вот хоть у меня и возьми. Вот эту.

– А сама?

– А сама пойду другую поищу. Иль знаешь што? Дуй-к в сарайку, там за перекладиной лопата торчит, тащи сюда.

Алешка вприпрыжку припустил в сарай, уши на шапке-ушанке в развеселую болтались, в ногах путалась «сабля».

«Герой», – усмехнулась Петровна.

– Вот! – уже бежал обратно Алешка, спотыкаясь, но крепко держа в обеих руках черенок лопаты.

– Ну, теперь давай в обмен. – Петровна подала Алешке свою лопату. – Наперегонки? – подмигнула Петровна.

– Да, тебе хорошо... ты вон уже сколько, а я нисколько.

– Вот еще беда... начнем сначала, вот хоть с той **гряды**.

– Вон с той?

– С той, точно.

– А ты меня и обскакаешь. Ты забыла, что ли? Ты большая...

– Так у тебя лопата зато повострей.

– Ну тогда ладно, давай...

Они перешли на свежую гряду, встали по разные стороны.

Алешка изо всех сил всадил лопату в землю, поднатужился – лопата еле шла. Сантиметров десять только и скосырнул, а дальше не пускала глубина. Как уж есть, Алешка перевернул пласт и раздолбил его лопатой. Копнул во второй раз, а уж упарился – земля за зиму сильно слежалась, поддавалась с трудом, Петровна смотрит, а помощник ее совсем сник, только виду подавать не хочет.

– А знаешь чего, Алешка! – сказала она, воткнув лопату в землю. – Пожалуй што, и не угнаться нам друг за дружкой.

– Как это? – удивился Алешка.

– А вот гляди-ка... мы с тобой лучше пойдем рядком. Поперву я пойду, а ты за мной. Так оно сподручней выйдет.

– Опять же ты и хитрая...

– А вот ты послушай-ка. Я копнула – а ты землю разбивай. Штоб на мелкие куски. Тогда оно знаешь как быстрехонько вперед уйдем. Всех обставим...

– Ну тогда ладно, давай, – согласился охотно Алешка.

И они пошли друг за другом – Петровна чуть впереди, Алешка следом, а когда она переходила на следующий ряд, Алешка оказывался впереди, это ему нравилось.

– В школе-то, слышь, чего учительница говорит... – между делом обронила Петровна.

– Чего, бабушка?

– Говорит, выросли уж, вон и год на макушке.

– А-а...

– А ты чего молчишь там, в школе-то? Иль што?

– Чего молчу?

– А не разговариваешь ни с кем, выходит. Иль как?

– А если дразнятся? Подрасту вот, всем задам!

– Дразнятся? Это как же это?

– А как... «маменькин сынок».

– Чего-о?.. – Старуха даже копать перестала.

– «Маменькин сынок».

– Нашли «маменькиного сынка»! – покачала в возмущении Петровна головой. – Вот уж дурни так дурни. А ты больно слушай их... балбесов!

– А-а, бабушка, я с ними не разговариваю. Чего они понимают?

– И то.

– Я одному и сопатку расквасил! – Рот у Алешки расплылся в широкой улыбке.

Петровна рассмеялась:

– Ну, это уж ты... А это еще кого к нам несет? – насторожилась она, расслышав, как звякнуло кольцо ворот.

Во двор вошел знакомый милиционер.

Петровна медленно воткнула лопату в грядку, отряхнула ладони, застегнула фуфайку, накинула на голову платок.

– Нету там никого! – крикнула с места.

– А-а, вон вы где, – улыбнулся милиционер. – Здравствуйте! – И приложил руку к козырьку.

– Здравствуйте, – ответила Петровна, медленно подходя к крыльцу; Алешка шел следом.

– Ну что же вы, Александра Петровна, так и продолжаете нарушать паспортный режим? – Милиционер смотрел на нее с улыбкой.

– А уж как не нарушишь, коли не прописывают.

– А вы бы, Александра Петровна, занимали свою законную площадь, вас бы и прописали, как положено.

– Как положено, про то не мне знать, а внучонок мой тут живет, да и я пока што не померла, потому живу при нем.

– Опять вы за свое, Александра Петровна. В который раз я к вам прихожу? И вы все на внука и на сноху уповаете. Где ж она?

– А уж не иначе, как в дороге.

– Все-то она у вас в дороге. Когда ж дома будет?

– А будет. Как приедет, так сразу и будет. Не иначе.

– Ну так вот, Александра Петровна, пока что у нас для вас постановление есть. Разрешите его вручить. – Старшина достал из полевой сумки свернутую вдвое бумагу, протянул старухе. – Распишитесь вот здесь. И получите.

Петровна близоруко сморщилась, подняла к глазам бумагу.

– Что ж за документ такой? Без очков-то не разберу.

- А это, Александра Петровна, штраф вам. За злостное нарушение режима.
- Штраф?
- Штраф, Александра Петровна.
- Вона чего... Ну коли так, по-иному и быть не может. Расписаться я должна али, может, мальчонке разрешите?
- Да нет, Александра Петровна, тут должна быть ваша подпись.
- А-а... ну раз так, пойдемте уж в дом. Очки-то у меня на комод, не обессудьте.
- Пожалуйста, пожалуйста, Александра Петровна.
- В доме старуха нацепила очки-кругляшки, присела к столу.
- Вот и ручка вам, – протянул старшина.
- Спасибо. Та-ак... где ж тут написать-то?
- А вот здесь, Александра Петровна. Вот в этом уголочке.
- Петровна приставила перо к бумаге, задумалась.
- А без подписи никак нельзя?
- Никак, Александра Петровна. – Милиционер улыбался.
- И ладно. Думаете, я испугалась?
- Нет, Александра Петровна, я не думаю так. А все-таки штраф есть штраф.
- Ничего. Аня приедет, она заплатит сполна. Сколь платить-то?
- На первый раз тридцать рублей.
- И-и... – протянула Петровна. – А пенсию-то мне и не дают.
- И не дадут, Александра Петровна. Пока не пропишетесь.
- Вот я и говорю, платить пока нечем. Это ничего или как?
- Да нет, Александра Петровна, деньги нужно внести в течение десяти дней.
- Ага. Ну, коли так, по-другому уж не быть.
- Удивляете вы меня, Александра Петровна...
- А чего же расстраиваться, человек хороший? Законы – они не могут быть худые, а потому и слушаюся.
- Это правильно, Александра Петровна. Ну, будьте здоровы. У меня еще много важных дел. До свиданья, малец!
- До свиданья, дядя, – ответил Алешка.
- Ну а теперь давай перекусим малость, – сказала Петровна, когда милиционер вышел. – Проголодался небось?
- Ага, бабушка. Есть охота.
- Ну-ну... – улыбнулась старуха, сняла очки и убрала их подальше на комод.
- На стол она накрыла быстро. Разбила тройку яиц на сковороду, пожарила колбасы, компот всегда под рукой, в погребе.
- А в школе ты смотри, – вспомнила старуха недавний разговор, – Марию Ивановну слушайся. А то вон чего... говорят, скушной больно ходишь.
- Какой скушной?
- Такой скушной. Не улыбаешься там, што ли, или еще чего. Не стала уж я рассказывать, что истории всякие придумывать мастак. В том и корень весь.
- Какой корень?
- А такой. У нас вон у дедушки, когда он еще в мальчонках менжевался, дружок был, молчун страшный. А потом чего получилось-то...
- Чего? – Алешка перестал жевать.
- А того, – многозначительно оттопырила большой палец Петровна, – што стал он знаешь кем?
- Кем?
- Вот то-то. Кем... А тем и стал, што ходил к нему народ и про все ему рассказывал.

– А-а...

– Вот тебе и «а-а»... Человек-то знаменит стал. Книжки сочинял.

– Сам?

– А то как же не сам? Сам и именно. Это, говорит, значит, думаешь-думаешь, а посла напишешь...

– Интересно...

– Во-от... Авось и ты вырастешь, просочинишь про свою жизнь. Как вот с бабкой своей жил.

Алешка рассмеялся:

– Скажешь тоже...

И тут как раз громко хлопнула дверь в сенцах.

– Кого там еще нелегкая несет, – проворчала старуха и вышла из-за стола. – Светы мои... – вырвалось у нее, и ложка, которую она, как вышла в коридор, так и держала в руке, серебристо звякнула об пол. – Кто к на-а-ам... – совсем уж тихим, дрожащим пришептыванием выдохнула старуха, и задеревеневшие, разом отяжелевшие ноги ее хотели, да не могли шагнуть навстречу.

– Мамка!

Алешка выскочил из кухни, бросился к матери; Аня, дрожа непослушной губой, подхватила сына обеими руками и, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, прижалась щекой к его горячей, в пушинках легких волос голове. Глаза ее блестели слезным гляncем.

Аня шагнула, прямо с Алешкой на руках, навстречу Петровне, и так они и обнялись в эту первую минуту – через Алешку, повисшего на шее у матери. Аня даже почувствовала, что Алешка как бы противится дрожащим бабкиным рукам, обнимающим ее: почти с кошачьей цепкостью он впился пальцами в ее заплечье, словно боясь, что вот сейчас могут отобрать у него мать. Аня ткнулась через его плечо в пергаментно-иссушенные руки Петровны, старуха левой ладонью погладила ее по тугим жестким волосам, прошептала: «Истончилась там... затвердела...» И уж лучше б не слышать да не говорить этих слов, потому что обоим сразу закатились в глаза слезы. Алешка завозился на плече у Ани, неуклюже пополз вниз, больно ткнув мать острой коленкой в живот, шмыгнул меж матерью и бабкой наружу. Аня потрепала его по голове: «Эх ты...» И лишь только после этого они крепко обнялись с Петровной, потом оторвались одна от другой, улыбнулись встречной радостью.

– Приехала все же...

– Приехала, мама.

– А чего привезла?! – подпрыгивал рядом Алешка, теребя, а то и с силой дергая Аню за рукав. – А чего привезла, а?!

– Кому что, а рыбаку до щуки, – махнула на него притворно-рассерженно Петровна.

– Вот и не так, прокатился на пятак! – обрадованно перехватил Алешка. – А пятак-то лучше, чем кофейна гуца!

– Во-во... разошелся, – рассмеялась Петровна. – Уж как радуется, как радуется, Господи...

– Мам, а взрослый какой стал? Пряма не узнать! – подхватила игру Аня. – Как увидела сначала – ну, думаю, не Алешка, а...

– А кто? – с интересом, наклонив голову, уставился на мать Алешка...

– А как дедушка Пихто, – вставила Петровна.

– Вот и неправда, петуху забавно! Петуху забавно, а мне и подавно! – запрыгал вокруг них Алешка.

Улыбаясь, пошли наконец все в комнаты...

Ночью старухе не спалось. Будто сходила она в давно желанную, домашнюю баньку, отмылась там, попарилась, пообмякла душой и теперь вот лежала с благодным покоем на сердце. В иные минуты становилось душно и хотелось испить кваску, она вставала с постели, – а было это раза два-три за ночь, – шла на кухню и наливала себе полный граненый стакан квасу с плавающими в нем хлебными размякшими корками. Бывает, хозяйки не любят эти корки, процеживают квас, а Петровне и это было в радость – почувствовать в нем особую горчинку хлебного мякиша. Она вставала, осторожно погромыхивала дверцей подполья, и все это старалась делать спокойно, размеренно, не торопясь – была и в этом сегодня сладость. Попив кваску, она уходила не сразу к себе в комнату, на постель, а переступала порожек большой комнаты, где на широкой тахте, в свете лунной рассеянной дорожки, разметавшись, спали Аня с Алешкой. Поначалу так, с порожка, невольно покачивая в радости головой, смотрела на них старуха, и потом поправляла одеяло. Спали крепко. Ни разу, сколько ни приходила старуха, никто из них не разомкнул глаз, за день намучились, намаялись во взаимной радости – теперь спали как убитые. Иной раз старуха подсаживалась на тахту или на стул рядом, смотрела на них, смотрела, и больше ей ничего не нужно было. Только бы посидеть, посмотреть на них, на родных. Лицо у Ани было даже помоложе, чем прежде, или так казалось старухе, но одно было явной ясностью – молодая она, ой какая еще молодая... Или это, может, свет лунный... да и просто хороша во сне любая женщина, а тут – жена сына, а тут – чего там – родная дочь... Мысли свои старуха далёко никогда не пускала, они были всегда близкие – сегодняшние, вчерашние, завтрашние, но сердце ее, прожившее долгую жизнь, было глубоко понятливым, и оно ныло сейчас пускай и тихим, негромким, но тревожным чувством, похожим на боль. Жизнь как сказка: что бы ни было, а ей все впору, любой поворот, любые кручи. Со всем смиряется жизнь. Но не со всем смиряется человеческое сердце. И не в этих, конечно, словах суть, а все же... И вот то улыбнется старуха, то чуть загрустит, сидя подле самых близких сердцу людей, и вся жизнь ее кажется ей сейчас долгой, мудрой, бесконечной... Иной раз она не выдерживала, протягивала руку к Аниным волосам и приглаживала какую-нибудь особо непослушную прядь.

И вот так бы сидела, сидела и сидела около них, смотрела бы и думала, но прохватывал мелкий озноб, старуха поднималась и уходила к себе.

На порожке она еще раз останавливалась, взглядывала на них в последний раз и с легким сердцем думала: ну, теперь все, теперь хорошо, теперь только и жить...

Глава пятая

– Так это вы и есть Анна Симукова? – Начальник ЖЭКа пристально смотрел на нее поверх очков.

– Как видите.

– Та-ак... Простите, конечно, но у вас какое образование? Кажется, среднетехническое?

– Среднетехническое.

– Вот видите, Анна Борисовна, человек вы образованный, а элементарных вещей не понимаете. Отчего бы это? Оттого, – назидательным тоном подчеркнул Шляпников, размашисто расписываясь в углу заявления, – что имеете в данном деле личную корысть. А личная корысть похвальна быть не может. – И он протянул Ане заявление.

Аня прочитала резолюцию: «В прописке тов. Симуковой А.П. на жилплощадь тов. Симуковой А.Б. отказать за неимением оснований».

– Почему же нет оснований? Я, кажется, имею право прописать на своей жилплощади не только мать, тем более что она отказывается от своей комнаты, но вообще любого человека. Площадь-то позволяет.

Шляпников смотрел на Аню откровенно-насмешливым взглядом.

– А обманывать государство вы тоже имеете право? – И еще через небольшую паузу: – Да и, кроме того, если уж быть точными, жилплощадь, о которой вы говорите, принадлежит не вам, милая вы женщина, а заводу. Заводу, понимаете? Мы имеем право и отказать. Смотря как взглянуть на дело.

– Однажды вы уже взглянули на нашу квартиру, как вам этого очень хотелось. Да ничего не вышло. Квартира осталась за мной.

– Что ж, бывает, и суд ошибается. Было бы в прошлый раз иное решение, не тянулось бы это дело до сегодняшнего дня.

– Здорово! Вы что же, до сих пор считаете, что по справедливости хотели отобрать у нас квартиру?

– Не отобрать, милая вы женщина. Не отобрать, а вселить вас в двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Как это и положено вам по метражу.

– Да ведь вы не имели права этого делать. Суд же доказал вам!

– Путаница у вас все-таки в голове, Анна Борисовна. Это вы не имеете права обманывать государство, вводить его в который уже раз в заблуждение. А уж мы-то обязаны заботиться о человеке.

– Видно, как вы тут заботитесь!

– Посудите сами, Анна Борисовна. Вы, по молодости лет, совсем не думаете о старом человеке, который завтра может остаться без крыши над головой. Может остаться, лишь только вам вдруг этакое желание придет в голову – замуж выйти.

– Да не собираюсь я замуж!

Шляпников раза два-три насмешливо всхохотнул:

– Это уж вы, милая Анна Борисовна, совсем интересно говорите. Лучше давайте делайте, как положено: разбронировали площадь – и живите себе на здоровье. А свекровь оставьте в покое, пусть хоть на старости лет поживет на собственной жилплощади, независимо от ваших с ней отношений.

– Вы тут, я смотрю, совсем уже... Мораль читаете, а сами против закона. Я ведь с вашей резолюцией в суд пойду! Это вам так просто не пройдет, не безграмотную старуху за нос водите!

– Можете жаловаться куда угодно. Пожалуйста.

Хлопнув дверью, Аня вышла из кабинета.

Алешка с Петровной сидели рядышком, на стульях. Петровна и спрашивать ничего не стала, увидев на Анином лице пунцовые пятна. Подхватила Алешку за руку и потащила вслед за Аней. И на улице Петровна тоже ничего спрашивать не стала, ждала, когда Аня сама начнет.

– Мамка, ну, чего он там тебе сказал? Этот? – дернул ее Алешка за руку. – Я слышу, ты ему: тра-та-та-та! Испугался?

– Я вот что, мам, думаю. Поеду сразу в суд. – Аня повернулась к Петровне.

– Ой, лихоньки, – охнула Петровна.

– К тому судье, который... ну, помнишь, к которому в прошлый раз, когда судились, ездила. Человек хороший. Правильно поймет.

– Мамка, а с тобой можно?

– А ты уроки сделал?

– А нам Мария Ивановна ничего не задала.

– Как это еще? – усомнилась Петровна.

– А так, бабушка. Завтра годовая. Пятерок – то ух нахвата-е-е-ем!..

– Вишь вот как он тут без тебя! – Петровна потрепала Алешку по вихрам. – Ты, што ль, пятерку-то схлопочешь?

– Я не я, а мои друзья, а мои друзья – это, баб, и я, – скороговоркой выпалил Алешка.

Странно все это было слушать Ане, непривычно.

- Девушка, здесь в списке нет товарища Миронова...
- Николай Палыча? Он уже не работает у нас.
- Вон что-о... – протянула Аня.
- А вы, собственно, по какому вопросу? – голос у секретарши был приветливый. – Николай Палыч, кстати, переехал в Ревду, еще два года назад. Вы не по личному к нему вопросу?
- Да нет, мы насчет квартиры. Дело в том, что он был в курсе дела...
- Вы зайдите к Тамаре Павловне Сидоровой, она как раз принимает.
- Сидорова выслушала Аню, взглянула на заявление, на резолюцию начальника ЖЭКа.
- Вопросы прописки находятся вне компетенции судов. Пропиской занимаются непосредственно ЖЭКи и милиция. Туда вам и следует обратиться.
- А если там поступают противозаконно?
- В вашем случае это действительно так. Обычное самоуправство жэковских работников, преследующих местнические интересы. Почему же вы не обратились в милицию?
- Наоборот, милиция не один уже раз, пока я была на Севере, приходила к нам, предупреждала, чтобы мама не жила без прописки.
- Ну, это когда вас не было. К тому же, пока вас не было, ее и нельзя было прописать без вашей подписи на заявлении. Правильно делали, что заставляли прописываться там, где она и могла прописаться, – на собственной жилплощади.
- Значит, такого закона нет, чтобы ее нельзя было прописать у меня?
- Конечно, нет. Идите прямо к начальнику милиции с жалобой на ЖЭК о нарушении ими паспортного режима. Там их быстро приведут в чувство.

– Зина, тут вот у меня некто Симукова сидит. Нет, не Александра Петровна. Анна Борисовна, сноха ее. С Севера. Да, вернулась. У них такое дело: свекровь отказалась от получения комнаты за снесенный домишко, просит прописать у снохи. Знаешь уже? Хорошо. Передо мной тут их заявление с резолюцией Шляпникова. Ты вот что, ты давай с этим Шляпниковым бросай в бирюльки играть. Мы тут, понимаешь, боремся с нарушением паспортного режима, а он потворствует нарушениям, создает такие ситуации, что, понимаешь, мне... Построже с ним, поняла? Я тут на обороте черкнул резолюцию: прописать немедленно! Сейчас они спустятся к тебе в паспортный стол, займись ими... Ну все.

* * *

– Теперь у вас все будет в порядке... вот здесь – видите? – начальник милиции поставил свою резолюцию, – здесь подписал я, а Шляпникову так и передайте: Зинаида, мол, Федоровна в следующий раз наложит на ЖЭК штраф, вот так, ну, а все остальное само собой... до свиданья!

- Мама, вы уж идите с Алешкой домой. Я теперь одна. Управляюсь теперь.
- Выходит, сказал, жить-то можно мне с вами?
- Да кто ж нам запретит, мама?
- А вот не разрешали же... ругались...
- Это так, на испуг брали. А нас на испуг не возьмешь. Так, Алешка?
- Меня-то? Да я ка-ак дам!..
- Вишь, вояка какой, – устало улыбнулась Петровна. – Пошли-ка вот домой, ужин пока сварганим, а там и мама наша придет.

Шляпников, в круглых очках, с мясистыми щеками, спокойно, как и в первый раз, рассматривал бумаги, на которых стояли резолюции, в том числе и его собственная.

– Добились, значит, своего? – спросил тоже спокойным тоном.

– Зинаида Федоровна, кстати, передала вам, что в другой раз наложит на ЖЭК штраф.

– Ах, Зинаида Федоровна, Зинаида Федоровна... – Шляпников достал из кармана ручку, положил перед собой заявление. – В суд-то не забыли сходить, Анна Борисовна?

– Да уж не забыла, не беспокойтесь.

– И как?

– Да так, обычное самоуправство жэковских работников, сказали.

– Говорить-то вот все мастера. А где брать лишнюю жилплощадь? Впрочем, я не о том. Объяснили они вам ваше заблуждение, будто меня по суду можно...

– Объяснили все как надо. Ладно, Фрол Данилыч, ставьте подпись, а то я сегодня уже замоталась.

– Ну, еще бы, – сказал Шляпников. – Между прочим, насколько я заметил, кое-что вы успели перенять у своего покойного мужа. Напористость, например.

– Вот бы он обрадовался, услышав, кто его похвалил!

– Ну-с, – Шляпников размашисто наложил новую резолюцию, – не в словах ведь дело. Хотя и в словах тоже. – И протянул Ане бумаги.

То, что она прочитала, даже как-то не совсем сразу дошло до нее. Но нет, там синим по белому четко, внушительно раскинулась фраза: «В настоящее время прописать тов. Симукову А.П. на жилплощади тов. Симуковой А.Б. возможным не представляется. Ф.Шляпников».

Аня с оторопью посмотрела на начальника ЖЭКа.

– Да вы что, издеваетесь, что ли?! – почти сиплым от ненависти голосом выдохнула она. – В самом-то деле хоть какую-то правду, хоть какую-то законность признаёте?! Или вам вообще наплевать на законы?!

– Милая Анна Борисовна, кто же мне приказать может? Против закона кто пойти прикажет?

– Нет, но вам же ясно написали... Вам же приказали!

– А-а-анна Борисовна, кто же мне приказать может? Против закона кто пойти прикажет?

– Да против какого закона?! Что вы все время плетете какие-то словесные паутины?!

– Отказ от ордера на собственную жилплощадь – это, что ни говорите, дело необычное. Положим, вам захотелось плюнуть на все, бросить жилье, швырнуть демонстративно ордер – а государство вам не даст этого сделать. Государство о вас заботится. Чтобы вы не по настроению жили, а чтобы как полагается. Мало ли что Александра Петровна, свекровь ваша, написала заявление об отказе от комнаты, надо, чтобы это заявление не только, скажем, в жилкомиссии у нас или вот мной было подписано. Мало этого. Дело-то необычное, неестественное дело. Надо, чтобы на заседании исполкома его заслушали. И чтобы утвердили, значит. Вот тогда, может, еще и можно было бы что-то сделать. А так... извините, никакой возможности прописать лично я не имею...

– Как не подписал?! Опять не подписал?! – Словно в восхищении от наглости Шляпникова, начальник милиции даже прицокнул языком. Поднял телефонную трубку. Набрал номер: – Шляпникова! Что? Куда ушел? Так. Ладно. – Повесил трубку, набрал новый номер. – Степан Емельянович? Приветствую. Смольников. Слушай, у тебя Шляпников что-то совсем... как почему? Да вот сидит тут у меня Анна Симукова, многострадалица, вернулась с Севера, где у нее трагически погиб муж. Хочет прописать к себе свекровь, которая и без того, без всякой прописки, давно уже живет с ней одной семьей, оставалась здесь с внуком. Знаешь уже? Тем лучше. Так вот ты мне скажи... Что? Да при чем тут это? Что у них там дальше будет, это никого не касается. Понимаешь – с юридической точки зрения это не имеет никакого значения.

При чем тут нравственный аспект? Пойми же – права нет такого, отказывать. Да, нет права. А уж это касается только их: будут они дальше жить вместе или нет, им видней. Мало ли что нам придется снова заниматься... Какое еще заседание исполкома? Послезавтра? Тьфу ты черт, ну и любим же мы разную волокиту разводить. Ну, мне не веришь, спроси у прокурора. Да, про-ти-во-за-кон-но. Ты же должен сам это знать, председатель исполкома как-никак. Да. Да. Именно. Шляпников всех за нос водит, а прикрывается высокими словами. Да позвони хоть прокурору, он тебе растолкует. О старухе заботимся, это хорошо, но надо и законы соблюдать. Пока, ладно. Пока. – Повесил трубку. Помолчал минуту. – Ну, что я вам могу сказать, Анна Борисовна? Ждали вы много, подождите еще два дня. Вы все слышали. Послезавтра заседание исполкома, там и решат с ордером вашей свекрови. А пока... ну, что делать? Если люди законов не знают, нужно время, чтобы объяснить им законы. Приказать тут никто не может, так что вот так. Всего доброго. До завтра. Нет, до послезавтра.

К ночи обе взгрустнули.

Петровна включила электрический самовар, вытащила из залавка пол-литровую банку малинового варенья.

– Чего-то ломотой идут кости-то, – вздохнула старуха.

– Ну, давай, давай, мам, попьем с малинкой. Это верно. – Аня присела к столу, подперев ладонями лицо. Смотрела на Петровну, следила за ее движениями. Спокойно все было в матери, сдержанно.

– Не успеем оглянуться, а там и картошку окучивать. – Петровна достала из горки два блюдца, две чашки – белый горох, оранжевое поле. Из чашек этих пили редко, почти никогда, – когда-то подарили их Ане с Кольшей на свадьбу, говорили – на счастье. Много чего за жизнь говорено, много чего услышано.

– Окучим, мам.

– Не без того.

Заварила чай Петровна сама, любила заваривать. Летом ли, зимой, а на дно чайника, ошпаренного кипятком, она любила положить смородиновый лист, а зимой еще – сушеных ягод, и уж только потом засыпала чай, обваривала его кипятком. Чай настаивался индийский, а вкус давал русский, садом дышал, летом, ягодной сладостью-горечью.

– Все как раньше, – улыбнулась Аня.

– Не иначе.

Чай был густой, пыхал жаром, так что чуть позвякивала крышка заварного чайника, а из носика к самому его окраешку подбирался, рвясь на свободу, фырча, пенисто-тугой янтарь заварки.

– Небось давно не пивала нашенского.

– Давно, мама.

– Я уж думаю, ну не едет Аня-то, не едет... Думаю, как мы тут одни.

– Приехала, мама.

– Это хорошо. Чего там – конечно, хорошо. – Старуха твердой рукой брызнула из чайничка по чашкам, ударило запахом смородиновой листвы.

– Чего-то там Алешка... взгляни-ка.

Но Аня уж и сама услышала, выскочила из кухни в большую комнату к сыну. И вот, когда взглянула на него, как бы замерла взглядом на его лице, у нее вдруг резко, больно кольнуло по левую руку, даже дыхание замерло, застряло где-то посреди груди... Алешка бормотал во сне – что, какие слова, не разобрать, да это и не важно, просто вот сейчас, в эти секунды Аня с обостренной болью почувствовала, разобралась, разглядела, насколько же Алешка – вылитый отец. Что он похож на него, это было понятно всегда, настолько понятно, что как-то даже и думать иной раз об этом не думаешь, а здесь – ну просто вылитый Кольша. И не потому боль,

что – вылитый, а потому, что еще раз пронзила все существо мысль: нет Кольши, нет его, нет... Иные минуты – как смирение перед жизнью, а иные – задыхаешься, как подумаешь только, что же это такое – смерть... ну, навсегда... насовсем... на веки вечные... нет с ними Кольши. Нет. И никогда не будет. Тут мысль забирается в такие дали, что лучше бы и не возникать ей совсем, стон рвется из груди, руками обхватишь голову, а понимания, осмысления – нет.

Алешка бормочет что-то, а Аня в какую-то минуту вдруг осознает, что стоит, оказываясь, рядом с ним, давит себе ладонями на виски.

Осознала это, поняла, опустила руки...

Вот и лоб – крутой, широкий, надбровья резкие – как у Кольши. И губы Кольшины – словно чуть обижены, выпячены вперед, мужские толстые губы. И брови, сдвинутые к переносице, будто он хмурится недовольно, тоже как у Ко дыни. И лопухий, как отец.

– Ну, чего он тут еще? – шепотом спросила Петровна сзади. Ане не хотелось оборачиваться, выдавать себя, только рукой показала: тихо, мама, – и решила еще постоять, малость успокоиться.

Старуха подошла поближе.

– Ань.

Аня не оборачивалась...

– Ань, ну... Ты чего, а? Ты чего это?

И как только рука Петровны коснулась плеча Ани, у той брызнули из глаз слезы.

– Ну, ты што, Ань... што ты... пойдем... – Обняв ее, старуха так и стояла позади Ани, приглаживая ее волосы сухой своей, оказывается, совсем легкой ладошкой. – Вот еще... ну, ты што... вспомнилось-пригорюнилось?... Ничего, ничего.

Плакать было нельзя – разбудишь Алешку. Аня и успокоилась, утихла мало-помалу.

Сели пить чай.

– Остыл уж, смотри-ка. – Петровна наново включила самовар. – Ты бы как-нито к Марье Ивановне зашла. К учительнице.

– Зайду, а как же, – все еще не поднимая глаз, но обрадованная начавшимся разговором, ответила Аня и отхлебнула чаю.

– Не жалобится, а и не похвалит особо. Молчит, говорит, все больше.

– Алешка-то?

– Алешка.

– Ничего, теперь заживем, смеяться будет. – Аня улынулась. – Подлей горяченько-го-то, мам.

– Во-от... – Старуха подлила в чашки свежего чайку. – Смеяться не смеяться, а покою б нам надо. Спокойства. Вот чего.

– Да ты не думай об этом, мам. Все равно пропишут.

– В том-то дело... Жить нам надо вместе. И чего они там никак не поймут?

– Да выдумывают разное...

– Мы дорогой-то, как возвращались, смотрим с Алешкой, Лидуха бежит.

– Ну да.

– Замуж вышла девка. Знаешь, нет?

– Ну? Смотри, и ей наконец счастье подвалило.

– Подвалило не подвалило, а носится нынче будь здоров. Семеюшка как зачалась, тут, девка, держись. Кормить семеюшку надо.

– Дело обычное.

– Я и говорю: Лид, забежала б когда. Говорит, когда-нито забегу. Порассказала я ей, какая у нас тут закавыка. Лидка-то девка башковитая, говорит, ежели не получится, надо опекуном меня, значит.

Аня перестала пить чай.

– Как опекуном?

– А так. Бумагу подать, поняла? Закон такой есть: опекуна прописывают. Тут уж не попрут противу закону. Прописывай – и на этом конец.

– Странно как-то, мама.

– Будет странно, коли ни в какую не идут. Поди докажи им.

– Ладно, мам, так или иначе, а все равно сделаем. Не беспокойся. Уладим.

Петровна поднялась, заглянула в большую комнату. Ноги у старухи окутывали синие вздувшиеся жилы, сарафан болтался, а шаг был тяжелым, шаркающим.

– Беспокоится што-то. Видать, может, заново мать поджидает, – улынулась Петровна.

– Ян сама не верю до сих пор, что дома, с вами.

– Навсегда приехала-то? – Старуха и сама не ожидала, что так грубо прозвучит ее слово. Осеклась.

– Мам, ну, ты скажешь тоже.

– Да это я так. К слову. К тому, может... сама знаешь...

– Что?

– Ну, ежели судьба какая тама... ты смотри... не оглядывайся особо. Был Польша – и нет Польши. – Руки у старухи легонько задрожали.

– Польше ребята памятник поставили. Не особый какой, но памятник. Буровики-друзья ставили.

– Погда б хоть одним глазком залететь туда. – И они обе замолчали.

Долго молчали...

А уж ночью Аня поплакала всласть. Приехала вот домой, а не поймет, что с ней и творится. Пустая какая-то душа, выпотрошенная, радости ждала в себе, а радость будто бежит ее, вяловяло шевелятся чувства. Вот дом, где они когда-то жили с Польшей, сад, огород, все то, о чем так всегда мечталось, что было связано с памятью отца, матери, а позже – Польши, сына, свекрови-матери, но ничто не оказалось в особую радость. Будто и позади ничего не было и впереди ничего не ждало. Выйдет ли поутру в сад, займется ли в огороде прополкой, возится ли с Алешкой или разговаривает со свекровью о жите-бытье, ничто не отдается в сердце по-настоящему глубоко, жизнь не идет на жизнь, а как бы просто одна жизнь – внутренняя – сама по себе, а другая – внешняя – тоже сама по себе, и нет между ними никакой связи. Попробуй пойми, что происходит с тобой. Совсем недавно жила – дышать трудно было; что только с одним Яшей у них произошло – не передать, какая мука, и вот на тебе – будто и не было никогда ничего.

Нет, не в Яше тут дело. Не в нем.

А ведь она еще помнила: совсем недавно жила одной только любовью. Пак так – помнила? В том и дело, не чувствовала она в себе больше любви, истаяла она, растворилась в пространстве. Думала, Яшу полюбила, оказалось – любовь вообще оставила ее.

Сколько жила, сколько мучилась, но всегда помнила Кольшу, его не было, а любовь к нему жила в ней, была ее единственной сутью, ни смысла в ней, ни надежды, ни будущего, но это была жизнь в любви, в ощущении, что она есть нечто даже более реальное, чем все окружающее, потому что окружающее поддерживало себя как бы в равновесии причин и следствий, а Кольши не было, и любовь к нему ничем не питалась, возникала из ничего и жила ни для чего, и равновесия никакого быть не могло: человек умер, а любовь к нему продолжала жить и мучить ее...

Боже, да все равно, пока она любила – пусть даже и мертвого, она жила в таком накале чувств, что трудно и сказать, жила ли она когда более насыщенной чувствами жизнью!

...Но когда и почему случилось непоправимое, она теперь не знала. И в том, что поняла она сейчас, плача рядом со сладко посапывающим во сне сынишкой, никому бы в жизни Аня не могла и не хотела признаться. Это было ее самым большим горем, самым жестоким открытием

о своей душе. Она думала о Большем, она вспоминала его, все-все было, как будто прежде, нет, не перестала она о нем горевать и печалиться, не перестала и плакать, что нет его, родного, среди живущих, но любить... любить она уже не любила. Изжилась вдруг любовь; отчего, как, почему – не понять, не осознать... И только здесь, дома, среди близких и родных, она вдруг разобралась в себе – выпотрошенная у нее душа, мертвая, пустая. Нет больше в душе любви, которая казалась незыблемой и вечной.

Нет больше любви. Ты прости, Кольша...

Всплакнула в эту ночь и старуха. Вспомнился ей майский один теплый день, прогретая до жара земля, сажают картошку. Вспомнилось и легкое платье, которое тогда было на ней, ветерок обдувал ноги. И помнит, как горячо прогревала ступни земля. Кольша, голопузый, минул ему тогда только-только годок, стоит в рубашонке, ноги, как в пух, провалились в пепельно-рыхлую вскопанную землю. Что-то она сказала, он обернулся, засмеялся так, засмеялся, заверещал – и бух, упал.

Помнила эту землю старуха, поныне ступни ныли воспоминанием. Помнила и вот плакала...

Глава шестая

Ненавидел Кольша весь этот сброд, который тянулся на Север поближе к большим деньгам. Деньги им давай огромные, а работать не любят. Чуть только устроятся на работу – или пьянка, или драка, или воровство. Или вот так соберутся в темном углу – с кого «трешку», с кого «пятерик», будет в карманах больше – заберут больше. Брезговать ничем не брезговали.

Вот и в тот день остановили Польшу как раз возле «Кедра». Вечером, после вахты.

– Ну? – спросил он.

– Ладно, топай, гад...

Он помнил эти рожи, однажды уже дрался с ними, выбил одному пару зубов.

– Ну и вшивота... – процедил Польша. – Опять промышляете?

– А ты что, на пику хочешь? – прошипел рыжий, которого и бил Польша однажды по зубам. – Ладно, братва, пока отвалим... – Рыжий ухмыльнулся и, подобострастно-фальшиво изогнувшись, показал Польше ручкой вперед.

Постояли. Посмотрели друг на друга.

– Не хотите, как хотите, сэр. А мы крантуемся...

И все трое, друзья рыжего, отвалили в сторону.

Польша еще постоял, посмотрел, как они уходят. Они, конечно, его не испугались, просто было им не с руки сейчас шуметь, а вот у Польшы стучало в висках порядком: трое против одного – это не шутки...

«Подонки...»

Сколько бывало шуму на собраниях в УБР, говорят-говорят о бурении, о цифрах, о планах, о проходке на месяц, и вдруг разговор повернет на общие вопросы, и тут уж самое большое – это детсады, жилье, досуг и вот эти – сброд, которого в городе собиралось немало... Кто работал на буровой, тот знает, что это такое, – буровая. Ад. Тут слабых не бывает. А нефти и газа выкачивают столько, сколько по всей стране не выдают... И вот тут-то и есть самое больное место: в городе, который гремит на весь мир, позволяют собираться всей этой «рвани». Даже больше – сюда их гонят, высылают – на «перевоспитание», а они тут – мат, пьянки, угрозы, разврат, дебоши.

Вопросов много. Ответов мало. Главный ответ: а куда же еще, товарищи? Где же им еще перевоспитываться, если не там, где трудно?

Так вот все и идет. По сей день.

Кольша постоял-постоял да и пошел дальше. Где-то там, в конце улицы, когда уже заворачивал в свой переулок, оглянулся на всякий случай. Далеко, уже за «Кедром», увидел троицу, окружившую пацана. Что-то там подозрительное показалось Кольше, будто не просто деньги требуют, а бьют парня «по кругу»; секунду еще колебался, а потом сорвался с места и побежал. Побежал не улицей, а свернул на зады, чтоб быстрее вышло, выскочил из-за поворота неожиданно, успел только заметить, как рыжий плаксивыми своими глазами показал на него:

– Братва...

И когда Польша, развернувшись, ударил рыжего в скулу, удар получился скользящим, рыжий успел отклониться назад, и Польша по инерции пролетел далеко вперед. Тут ему подставили «ножку», он споткнулся, стараясь все-таки удержаться на ногах, но не удержался, упал прямо на кусты, лицом в акацию, разодрав его в кровь. Почувствовал, как кровь садняще выступила на коже, уперся рукой в кусты, они пружинили, не было опоры встать, а кровь бежала все сильнее, и когда он наконец поднялся и повернулся лицом к шантрапе, это-то, видимо, и остановило их – его кровь. А он первое, что понял, когда обернулся к ним, – парень-то лежит, лежит лицом вниз, то ли ударили так, а может – подкололи, и тут у Кольши как-то замутился рассудок от злобы, ярость захлестнула его: «А-а, так вы так, падлы...» – и он, со сжатыми кулаками, снова набросился на рыжего, краем глаза заметив, как парень, который пластом лежал на земле, поднялся на четвереньки, очумело мотая головой. Кольша видел плохо, ударил рыжего наотмашь, но тот опять увернулся, как угорь, уже, видно, выработав хладнокровие в подобных переделках. Но все же сообразил, что сегодня шутики плохи, этот осел взбесился всерьез, в другой раз, может, и проучить его малость придется ножичком, а сегодня рви когти, братва... И все трое бросились врассыпную.

«Ага, рванули... ну нет, я тебе, падла... ты у меня...»

Кольша не раз замечал за собой, как в минуты опасности в нем словно просыпается неведомый ему зверь, сильный, жестокий, сил прибывает вдесятеро, а с первым же ударом даже и эти силы увеличивались, перестаешь сознавать себя – обычного, знакомого тебе, кровь кипит в жилах. А тут, как раз когда он всю ненависть хотел вложить в удары по этим мерзостным рожам, они побежали, и он снова пережил незнакомое, прямо кипящее в нем чувство: догнать, догнать, ударить, схватить... Парень, которого они сшибли с ног, теперь уже совсем поднялся, правой рукой держался за голову и, чуть покачиваясь, со стонами, иногда отнимал руку от головы и ошалело смотрел на густую темную кровь на ладони и пальцах.

Из всех троих один рыжий метнулся в сторону Оби. Петляя между сараями, мелькал своими патлами. И Польша рванул за ним.

Он бежал, слыша тяжелое свое, густое дыхание, одержимый одним желанием: догнать... По вискам тек пот, разъедающая кровь на лице; вообще у него было такое ощущение, что вспотели даже глаза, не только лоб и виски, а кроме того, в глазах была какая-то мутная краснота – рыжий бежал впереди, мелькая, то пропадал, то появлялся снова, и Польша видел его каким-то красным, поначалу – рыжим, а потом – красным, и все это успевал между прочим сознавать, даже успевал удивляться, что видел все именно таким, каким видел.

Рыжий бежал к Оби. Может, у него там моторная лодка, может, есть укромное какое-то место, а может, просто хотел затеряться среди сотен сарайчиков и пристроек, которых за годы налепили здесь многое множество. Но он бежал к Оби, наверное, зная, зачем бежит, а Польша не знал, он только почувствовал, что бежать стало легче, от воды тянуло прохладой, ветер был такой влажный, что иной раз даже как будто капли с реки доносились вместе с дуновением ветра, и Кольша задышал свободней, вольней. Но вдруг и правда выпустил рыжего из виду, помнит, ввинтился тот между вот этими сарайчиками, а когда добежал сам, вдруг ничего и никого нет, и остановился пораженно. А уж темнело, стальная, в сизость, полоса вечернего заката накрывала реку по всей ее ширине, вода ребристо переливалась под этим закатом, стукали моторы речных трудяг, в порту тяжело ворочались погрузочно-разгрузочные краны, а

здесь вдруг застыла тишина, даже шаг твой, отдававший шуршанием прибрежной гальки, разлетался по всей шири реки, отлетал к глубинам горизонта.

Кольша обнаружил, как тяжело – словно мехи – вздымается его грудь, почувствовал, как мелкой дрожью гудят от перенапряжения ноги, услышал, как гулко стучит в висках кровь. И не было никого. Он один. И в мгновение, в секунду ему вдруг показалось, что, может, и не было ничего, никого, было – не стало, и ладно, и черт с ними, парень тот очухается, а с этими будет время поквитаться. Так подумал Кольша, и от этой мысли ему стало спокойно.

И еще что он опять осознал – будто правда видится ему красноватый оттенок вокруг. Вот ведь что делает ненависть.

И он повернулся и пошел прочь от реки. Домой.

Он сделал всего лишь несколько шагов, как вдруг из-за скособоченного такого сарайчика вышел навстречу рыжий.

Странно даже было увидеть его, когда уже гнев прошел, охота догонять и мстить исчезла, а душа помалу успокаивалась.

Ну да что делать. Видать, судьба.

Рыжий стоял смело, и это насторожило Польшу, настороженность обострила зрение, вообще восприятие окружающего. За спиной у рыжего, на взгорке, стоял домик, в домике в окне вспыхнул свет, и видно было, как мелькает в комнатах силуэт женщины с распущенными волосами. Слева, тоже на взгорке, в огороде копошилась старуха. А справа, за изгибом Оби, шлепал вниз по течению тоже разом вспыхнувший светом окон пассажирский речной пароход. И оттуда же, с реки, с парохода, доносилась музыка, кажется, это была скрипка...

Рыжий стоял и ждал; делать было нечего, и Польша пошел на него, почувствовав, как взмокли ладони, неприятное такое ощущение... Смелость, наглая усмешка рыжего – вот что ставило в тупик. Он стоял, широко расставив ноги, усмехался, действительно рыжий, с торчащей клоками реденькой рыжей бородкой по скулам, в ковбойке, распахнутой на волосатой груди, с руками в карманах брюк.

Может, оставалось шагов пять-шесть до рыжего, когда из-за сарайчика вышли еще двое. И как только они вышли, Кольше стало легче. Сразу все напряглось в нем, налилось силой, отчаянием. Ясно, отработанный прием. Ясно, заманили сюда. В ловушку.

Кольша мельком огляделся... затерянное оказалось местечко. Все рассчитали заранее. Может, не в первый уже раз. Скорей всего, что не в первый.

Кольша примерился ко всем троим и понял, что рыжий не самый опасный – он просто самый наглый, видно. Опасней был один из двоих – жилистый, высокий, в телогрейке, накинутой на тельняшку; вот такие – с жилистыми руками – выносливы в драках, сила в них, как в скрученном жгуте, – хлесткая, резкая. Второй был роста небольшого, рыхлый, обычный слизняк, какой-нибудь подпевала, «шестерка».

Еще что понял Кольша – хотят с ним «поговорить по душам». Этим и нужно воспользоваться. Хотят поговорить с ним, выяснить, где у него душа – в пятках или еще дальше, пощупать им его охота, попытать, подзавестись малость. И этого нельзя им давать. Бить в первую же секунду. Сразу. Первым ударом рыжего, вторым – жилистого.

Так он и сделал. Прыгнул к рыжему без слов, извернулся, как кошка, и со всего маху хлестанул его кулачищем в редкую бороденку. Слышал даже, как хрустнули челюсти. Рыжий упал навзничь, так и не успев вытащить руки из карманов; Кольша видел, как взбрыкнули его ноги, и в этот момент получил такой страшной силы удар сбоку, что сначала вспыхнуло все вокруг, потом разом померкло, и тут же он полетел в пропасть, потерял на мгновение сознание. А когда на земле, лежа на гальке, открыл глаза, мутно, долго возвращался к нему мир.

Но понял, сообразил все, поспешил вскочить, но получилось – медленно, трудно поднимался, опираясь на руки. Прав он оказался – жилистый бил умело.

Непонятно только, почему не бросились на него. Думал, топтать будут, пинать, но нет. Встал. Рыжий тоже уже стоит, ухмыляется рассеченной губой, струйка крови стекает по подбородку за ворот рубахи, на волосатую грудь. Двое стоят рядом, будто и не сходили с места.

Кольша помотал головой. Непонятно ему что-то было. Расхолаживала такая драка. Угнетала.

– Думали, лекцию тебе прочитать. – Рыжий сгустком крови сплюнул Кольше под ноги. – А ты, видно, лекции не уважаешь. Придется анатомией заняться... – И рыжий щелкнул ножом-складышем. – Ты думал, – шипел рыжий, – мы о тебя пачкать руки будем... Нет, таких, как ты, мордобоем не проучишь. Ты мне, гад, ответишь за свою наглость. Я тебе простил тогда... пускай потешится, отквитаемся еще... А ты опять прыгаешь, падла... Отведаешь <пера>, сучонок. – И рыжий пошел на Кольшу. – Не бойся, убивать не стану... я тебя попишу малость, наведу татуировку... Встречать будешь – за километр поклонись... Только смотри не брыкайся, а то как бы того, не сыграть в ящик... – Рыжий криво, голозубо ухмыльнулся.

Кольша отпрыгнул от рыжего в сторону и ногой, неожиданно для всех, ударил жилистого в пах, тот, правда, успел переломиться пополам, удар был проигран, жилистый схватил Кольшу за ботинок и крутанул ногу. Кольша не упал, но повалился на руки и, рванувшись, сумел вскочить на ноги, как раз когда рыжий бросился к нему с ножом. Никого и никогда еще Кольша не бил с такой сластью, как этого рыжего, так прочно, туго подвернувшегося под кулак. Нож отлетел в сторону, рыжий, охнув, присел на колени, из уха у него полилась кровь, и тут вторым, молниеносным ударом Кольша резанул жилистого, который, уклоняясь от удара, ответил Кольше ударом по верхней губе, разом взбухшей, как шар. Но боли Кольша не почувствовал, уклонился влево и снизу, в подбородок, снова ударил жилистого, а тот сверху успел влить Кольше удар в висок, на секунду Кольша потерял ориентировку. Два-три раза маханул кулаками, но вхолостую, один туман в глазах, а когда левым глазом разобрал жилистого (правый глаз заплыл от удара), жилистый как раз косо ударил его ребром ладони выше ключицы, по шее. Чуть шея не свернулась, но Кольша понимал – прекращать драку нельзя, отскочил в сторону, хрипя кровью (рыжий все еще сидел на коленях, мотая головой), и, приняв стойку, на какую-то долю дал себе оглядеться. Жилистый шел на него («шестерки», рыхлого слизняка, почему-то вообще не было видно) – теперь уже без телогрейки, которая валялась далеко в стороне, в одной тельняшке; поднялся на ноги и рыжий; и в тот момент, когда Кольша снова схлестнулся с жилистым, обменявшись с ним по увесистому удару, голова у Кольши вдруг хрустнула, череп будто вмялся, из глаз выдавилась кровь. Кольша какую-то секунду очумело еще держался на ногах, а потом рухнул на землю.

Речной пароход, из окон которого лился свет и лилась музыка, все плыл и плыл вниз по течению Оби.

Рыхлый отбросил в сторону палку, которой ударил Кольшу сзади по голове.

– Может, рванем?

– Ну нет... – прохрипел рыжий, – подождем... – Вытираясь от крови и отплевываясь, он поднял с земли нож, вытер о штаны. – Этого ухарика надо проучить... оставить зарубы...

Стояли втроем, ждали, когда Кольша очухается. Только когда человек в памяти, только тогда его можно чему-то научить. А так – бесполезно. И потом – спокойно все было вокруг, тихо, ни души. Отчего не подождать.

– А парень ничего, – сказал жилистый.

– Ты иди еще облобызай его, – сплюнул рыжий.

– Смотри, не перестарайся.

– Не пойму... кто-то тут что-то вякает?

– Ладно, не заводись.

Кольша медленно приходил в себя. Приподнял голову. Всмотрелся в них, но, видно, не сразу признал. Но и когда узнал, особо не среагировал, так, махнул как-то рукой, и все.

Стал подниматься. Глаза мутные. Движения плывущие.

Нет, делать с ним было нечего.

Жилистый посмотрел на рыжего. Рыжий подбросил в руке нож, рукоятка плотно, удобно легла в ладонь. Жаль ему было расставаться с ножичком.

И в этот момент они увидели, как к ним, со взгорка, бежит тот парень, которого они уделали еще там, у «кедра».

– Щенок... – обрадованно процедил рыжий.

Откуда он взялся, очухался или спохватился, но он взялся, прибежал, видно, на выручку, и когда подбежал – растерялся: Кольша стоял на одном месте и раскачивался из стороны в сторону, обняв голову руками, а трое стояли и спокойно поджидали бегущего.

– Свое получить прибежал? Вовремя... – И не рыжий, который сказал эти слова, а рыхлый подпрыгнул к парню и передком сапога пнул ему под колено, чуть ниже чашечки, – парень взвился от боли, закружился на одном месте, и, видно, рев его и привел окончательно Кольшу в себя.

Он с места, чего уж никак не ожидали от него, ударил рыхлого в затылок и, развернувшись, тут же сбил жилистого с ног; рыжего он не успел ударить, потому что тот не столько сознательно, сколько инстинктивно ткнул Кольшу ножом в бок, который так соблазнительно открылся ему, когда Кольша ударял жилистого. Кольша как-то странно повел бровью, будто что-то поразило его до глубины души, но главное, что он разобрал, – это какое-то гадкое, мерзкое ощущение оттого, что что-то инородное, чуждое ему остро, легко вошло в его плоть, захватив дыхание. Рыжий с силой вытащил нож и, пришептывая матом, с перекошенным лицом, еще несколько раз пырнул Кольшу ножом; рыхлый в это время, ударив парня под вторую чашечку, пинал его куда попало.

– На кино надеешься... Не выйдет кино... – пришептывал рыжий, войдя в раж, нанося удар за ударом. – Сволочи... жизни не знаете... одна она у тебя, одна... поймешь это, падла... Наговорили вам, навоспитывали, из всего, мол, можно сухим выйти... человек человеку... я тебе покажу кино... ты у меня узнаешь, что такое жизнь... которая висит на волоске... Заступнички нашлись... не тут-то было, не кино... жизнь, жизнь, сволочь...

Кольша оседал на гравий, расширив от изумления глаза: не было с ним еще никогда такой слабости, такой покорной безысходности ощущений, что это ведь нож, нож входит в него с жестокой легкостью. Больше всего он был изумлен. Не верил. Не мог поверить, что это его жизнь и что эта жизнь рядом со смертью.

А пароход с зажженными яркими окнами был уже совсем близко, и, может быть, оттуда разобрали наконец, что происходит на берегу, и длинный протяжный гудок с шипом разорвал пространство.

– Братва, рвем когти... – крикнул жилистый.

Они побежали, парень корчился на земле, исходил стоном, а Кольша, держась за грудь, стоял на коленях и изумленными глазами смотрел на пароход, на котором светились столько счастливых огней, а с палубы неслась последняя в Кольшиной жизни музыка...

Из шестнадцати ран только одна оказалась смертельной. В сердце.

... На Севере они поначалу купили балок. Так делали почти все. Приезжали, устраивались на работу, а жилье получали через год-два. Кто получал раньше, считались счастливыми. Ну а большинство семейных проходили через балки – что-то вроде избушки на курьих ножках, с печкой-временкой, несколькими метрами жилой площади, кухонькой, самодельной кроватью. И главное, через месяц-другой так втягивались в эту жизнь, что она казалась здоровей, лучше, проще, чем любая иная.

Здесь они как-то вообще показались друг другу нужней, понятней, родней. Поехали деньги зарабатывать, а получилось – нашли друг друга окончательно. Только здесь и поняли,

что на многое в самом деле смотрят одинаковыми глазами. Даже и то, что Кольша пытался изменить ей, даже и это постепенно забылось Аней. Не совсем забылось, не совсем прости-лось, кровоточило иной раз под сердцем, но как бы перестало относиться непосредственно к Кольше. Да, было, случилось что-то в ее жизни, а не в их общей, – вот как это ощущалось.

Свой грех Кольша, можно сказать, тысячу раз уже искупил; к тому же грех его был как бы и не вполне грех – не успел произойти. А главное, в самом деле не в натуре это было Кольши, так, накатилося наваждение – чего в жизни не бывает...

В общем – забылось все это Аней, забылось и простилося.

А вот куда важней было для них воспоминание, когда они, например, работали на буровой, в зимний день, в стужу, что в старом поселке, где балков построено без числа, без счету, есть и у них свой балок, куда сразу же после вахты они приедут вдвоем, будут только вдвоем; они словно украли у жизни еще несколько лет молодости, потому что, сколько они помнят себя, им всегда хотелось остаться вдвоем, но никогда этого не было: все время кто-то мешал, пусть даже не мешал – просто был рядом, а здесь только и сбылась их мечта.

И холодно было, и жарко было, но родней, чем здесь, они никогда не были друг другу.

Осталась вот на память фотография: Польша в шапке-ушанке, весь в снегу, смеющийся, стоит у балка и бросает снежки в Аню. А она барахтается в снегу, в свитере, в вязаной шапочке, отбивается от снежков и смеется, смеется...

...Мастер Иванихин медленно поднялся из-за стола, почесал, как всегда, когда волновался, затылок, сказал:

– Что ж, елки-палки, дело такое... новое... Да-а-а... А вот убейте, что-то не пойму, нужно оно, нет...

– Другим нужно, а нам нет? – крикнул Польша с места.

– В том и дело, не знаю, не знаю... Может, и другим не нужно. Может, никому не нужно. Вот чего.

– Ну, а попробовать? А, Степаныч?

– Попробовать... – Иванихин снова почесал затылок. – Знаешь, одна попробовала, потом родила. Пто план давать будет?

– Точно! – поддержал мастера Яша.

– А ты сиди, – прикрикнул на своего помбура Польша.

– Не подмастерье, могу и сказать! – разозлился Яша.

– Сказать – так дело говори.

– А что не дело-то? – взвился Яша. – Ты мне на цифрах, на пальцах докажи, что прав, а? То мы идем себе, бурим скважины, пробурили – и дальше. А за нами освоены. Ты о разделении труда слыхал? Что разделение труда привело к прогрессу, слыхал?

– Разделение, разделение... Заладили, как попки. Да поймите вы, сейчас время другое. Ну – пусть ошибаемся, но попробовать-то можно. Ради интереса?..

Так ни к чему на собрании и не пришли. Кольша в пух и прах переругался с Яшей. Должны ли буровики только бурить скважины или можно после бурения сразу же их осваивать, готовить для промышленной откачки нефти?

Месяц ни слова друг другу. Ни Яша. Ни Кольша...

...Плыли по Оби. Вечером, на катере. Поздней осенью. Нешадный ветер хлестал по лицам, гудела мачта, нос катера зарывался в волны, а они, Кольша с Аней, стояли на палубе, не уходили вниз, в каюты, а стояли и смотрели на точку-огонек в настаивающих сумерках. Точку, то притухавшую, то разгоравшуюся, но все время словно живую. Стояли обнявшись. Не говорили ни слова. И в минуты эти никого как будто вообще не существовало в мире. Аня ощущала грозность, страшность видимого мира, и то, что этот мир реален, вот он, перед гла-

зами, еще более подчеркивали сумерки; легкая дрожь так и пробирала Аню с головы до ног. Но Аня стояла не одна, с Польшей, он был рядом, зачем-то ему хотелось стоять сейчас здесь, наверху, зачем – она так и не поняла, ни тогда, ни позже, он стоял твердо, обняв ее за плечо крепко, уверенно, молчал и смотрел на огонек. Нет, она его не понимала, но раз нужно, стояла рядом; ветер нахлестами обдувал лица, со всех сторон летели брызги.

Вскоре катер вошел в заводь, здесь было тихо, спокойно, шумел только прибрежный лес да ярко пылал на берегу костер, который совсем недавно виделся как маленькая точка-огонек. Сюда-то и вез их Яша. К знакомым рыбакам-промысловикам. На стерляжью уху.

– Здорово, Ник-Палыч!

– Здорова, здорова, Яшка!

Ник-Палыч оказался маленьким, с редкими седыми вихорками стариком-остяком, с черными – угольками – глазами, быстрым говором и беспечной, детской улыбкой.

– Ну, покормишь, чем обещал?

– Ты еще дома катер садился, а старый Ник тебя жде-е-ет... знаешь, знаешь, Яшка... – Ник-Палыч прицокивал языком, особенно когда взглядывал на Аню, а двое еще совсем молодых рыбаков-ребятишек, помощников старого рыбака, смущенно отводили от нее глаза – никак не ожидали сегодня увидеть гостью в своих краях.

Яша носил в то время бороду; в брезентухе, в сапогах, он как-то сразу оказался близок рыбакам. Если что, они обращались прямо к нему, тем более что и старый Ник был его давним знакомцем, дружил еще с отцом Яши. Яша был из местных, редкий теперь уже человек в этих краях.

Уха побулькивала в дымном, в деготь, ведре, языки пламени лизали жирный, сплошь в золотистых кружках навар стерляди, которую бросили в самый последний момент, уже после сырка. Из-под золотисто-янтарной пенки темными гребешками выглядывали спинки стерляди, поматовевшие, исходящие розоватой прослойкой жира. Тонкий наваристый запах щекотал ноздри, сами собой текли слюнки, не было сил сдержать их...

Старый Ник деревянной расписной ложкой нырнул между спинками стерляди, зачерпнул из глубины, посмотрел на свет.

– Хороша, у-ух хороша! – причмокнул и сделал пробу, смешно вытянув губы и дуя по-стариковски осторожно на бульон, тающий золотым отблеском.

– Ваньша, давай! – скомандовал одному из помощников.

Ваньша, тот что поменьше ростом, белобрысый, выгоревший на дневном солнце до блестящей голубизны глаз на темно-коричневом лице, бросился к шалашу. Старый Ник деревянным же черпаком вылавливал стерлядь и раскладывал по мискам. Бульон положено пробовать чуть позже, после стерляди, отведать которую в любые времена считалось царской роскошью. Рыбакам-любителям вылавливать ее в Оби запрещено, ну а промысловики – те ни у кого не спрашивают, когда надо – тройку-другую стерляжки всегда найдут на ушницу.

– Давай, давай, царька попробуй... – приговаривал старый Ник, поглядывая на Аню. – Юшку потом хлебать будешь. Слушай старого Ника... – Не зря говорено – тает рыба на губах: стерляжье мясо – точно – таяло во рту, исходило текучим нежным жирком. А вкус... ничего похожего никогда в жизни не едала Аня, тут и особая сластинка, и какая-то непривычная для рыбы тягучая размягченность плоти.

– А что, как рыба ловится? Меньше, больше? – По рукам у Кольши тек жир, а глаза были счастливые, совсем детские, наивные, и смотрел он на Ник-Палыча уважительно.

– Откуда больше быть? Ты что ловишь, нефть ловишь? – с прищуром хитро ответил старый Ник.

– Нефть ловлю, – рассмеялся Кольша. – В точку попал.

– Слушай, а когда нефть переловишь, чего делать будешь? – покачал головой старый Ник.

– Что, Ник-Палыч, – пробасил Яша, – думаешь, пропала рыбка-то?

– Меньше рыбы, ой, Яшка-а... рыбы мень-ше-е...

– Ну, а прогресс – куда его девать? – каким-то самоиздевательским тоном не спросил, а будто утвердил Яша.

– Кушай, пробуй царька, – приговаривал старый Ник, поглядывая на Аню. – Сказку потом слушать будешь... бай-бай... бай-бай-бай... – И смеялся по-остяцки залиvistым, высоким, почти младенческим смехом.

Ночь стояла ярая, густая, блестящая на реке и непроницаемая по берегам; Обь с шипом, с шумом окатывалась на прибрежную гальку, в кронах деревьев гудел-шелестел верховик, и ни огонька, ни постороннего звука, только яркий костер вот здесь, на крутояре, еще больше сгущающий темень.

Кольшу с Аней спать уложили в отдельный шалаш, будто новобрачных. И правда, как только закрыли за ними лаз, потянулись они в истоме друг к другу, пахло хвоей, рекой... А когда Кольша уснул, Аня долго еще лежала, прислушиваясь к ночи, и из всех звуков самым тревожным, беспокойным было биение реки в берегах, текла и волновалась она шумливо, и, как маленькой девочке, приятно, тепло было сознавать Ане, что, хотя ей и страшно, она ничего не боится, потому что рядом, теплый, горячий, лежит накрепко уронив на нее тяжелую руку, самый родной, самый любимый... Она чувствовала себя счастливой, такой счастливой, что даже страшно вдруг становилось своего счастья, она вжималась щекой в Кольшино предплечье, гладила его небритую щеку ладонью, шептала глупые, пустые, важные для нее слова... Ночь как бы вошла в них, растворила их в себе, и опять ей почудилось, ощутилось, что мир безмерно огромен, а они в нем маленькие, беспомощные, а все равно Кольша рядом, и с ним не страшно ничего, и она по-глупому, по-бабьи заплакала, сама не зная отчего, горячие слезы капали на Кольшину тяжелую руку...

Глава седьмая

– И последний вопрос нашего сегодняшнего заседания... тихо, тихо, товарищи, я понимаю, все уже устали, но – минуточку внимания... Итак, последний вопрос на сегодня – два заявления от гражданки Симуковой Александры Петровны. Первое. Зачитываю:

«В связи со смертью моего сына Симукова Н.Г., а также в связи с длительными пребываниями его жены Симуковой А.Б. на Севере по служебной необходимости прошу назначить меня опекуном их сына Алексея со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями с моей стороны по отношению к внуку. В просьбе моей прошу не отказать. Симукова».

– Тихо, тихо, товарищи! Я думаю, нет необходимости сразу переходить к обсуждению этого заявления, ибо, как мне кажется, второе заявление тесно примыкает к первому. Есть предложение зачитать второе заявление. Нет возражений? Зачитываю:

«В связи со сносом моего бывшего дома мне была выделена комната, ордер на получение которой мной пока не получен. Прошу исполком не выделять мне вышеуказанную комнату, а вместо этого дать разрешение на постоянную прописку по месту жительства моих снохи и внука Симуковой А.Б. и Симукова А.Н. В просьбе моей прошу не отказать. Симукова».

– Итак, товарищи, какие будут мнения?

– Можно?

– Пожалуйста.

– Я, конечно, не знаю в точности всех обстоятельств, но мне показалось странным первое заявление. В какой-то мере даже противоестественным. Как это можно при живой матери ставить вопрос об опекунстве? Другое дело, если бы мать лишили материнских прав...

– Но там же ясно сказано, вопрос об опекунстве возник в связи с длительными пребываниями матери на Севере по служебной необходимости.

– Тихо, тихо, товарищи. Я думаю, формулировка «длительные пребывания» в некотором роде преувеличение. Все это написано так, будто мать постоянно выезжает и будет выезжать в длительные командировки на Север. А между тем нам точно известно, что в настоящее время тов. Симукова Анна Борисовна вернулась домой окончательно по истечении договорного срока. В общей сложности это составило чуть более пяти лет.

– И все пять лет она прожила на Севере без сына?

– Почти все. Когда мальчику исполнилось три года, мать с отцом забрали его с собой. В то время они получили на Севере квартиру. После смерти отца мальчик снова оказался с бабушкой.

– А что, собственно, случилось с отцом?

– Его убили.

– Его убили?! Кто?!

– Хулиганы. Бандиты. Кто же еще.

– Товарищи, давайте обсуждать вопрос по существу дела. Вопрос не простой. Сложный. Случай трагический. Но обратимся к сути заявления. Не кажется ли вам, что тов. Симукова А.П., хотя и ставит вопрос об опекунстве, ставит его для себя совершенно формально? Или, если говорить по-другому, дело для нее заключается вовсе не в опекунстве, а в чем-то ином? И не в том ли как раз самом, о чем говорится во втором заявлении?

– Ну, Степан Емельянович, так можно все на свете перевернуть... Есть заявление. Просьба, так сказать, назначить опекуном. Нужно и решать. Конкретно.

– А я конкретно, товарищ Смольников. Скажите мне, пожалуйста, для чего понадобилось Симуковой становиться опекуном внука как раз тогда, когда с Севера окончательно вернулась мать?

– Ну, это их дело.

– Как это их дело? Это наше дело. Ведь именно мы должны вынести решение. И решение справедливое, законное.

– Мне все-таки тоже как-то кажется... при живой матери... опекуном... все-таки чего-то я тут не пойму...

– А это все вы очень скоро поймете, уважаемая... м-м... Пока же, по существу заявления, я не вижу абсолютно никаких оснований назначать тов. Симукову опекуном своего внука. Более того, считаю позицию матери Алексея Симукова глубоко двусмысленной, о чем просил бы отметить особо в будущем нашем решении. Нельзя же в самом деле для достижения каких-то своих целей апеллировать к нашему святому праву... э-э... для того, чтобы быть назначенным опекуном человека, который в действительности совсем не нуждается в этом! У кого другие мнения по этому вопросу?

– Степан Емельянович, нет ли тут у нас какого-нибудь перекоса, тенденции, что ли? Согласен, вопрос об опекунстве поставлен как-то неубедительно, но... Не решаем ли мы его так, что это может повлиять и на ход обсуждения второго заявления?

– Я согласен с товарищем прокурором. Как-то уж очень мы строго... У людей – беда, а мы... в амбицию в какую-то впали...

– Ну, хорошо, хорошо, товарищи. Давайте в таком случае решим по существу. Может ли товарищ Симукова Александра Петровна быть назначена опекуном внука при всех вышеизложенных соображениях? Мое мнение – не может. Кто поддерживает это мнение? Кто воздержался? Итак, с первым вопросом ясно. Переходим ко второму заявлению. У кого какие будут на этот счет соображения?

– Я думаю, Степан Емельянович, двух мнений тут быть не может. Юридически Симукова имеет полное право прописаться на жилплощади снохи и внука. О чем тут еще говорить? А кроме того, для вас что, лишняя комната, что ли, если старушка сама дарит вам ее?

– Полностью поддерживаю товарища прокурора. Я уже разговаривал на днях со Степаном Емельяновичем по этому поводу. Старушку давно следует прописать, а то она, бедная, без прописки даже пенсию не может получить. Надо же учитывать и возраст, товарищи...

– Один вопрос. Я тут кое-что упустила, может быть, из разговора. Эта тов. Симукова, она чья мать – вот этого, умершего, или же?..

– Да, она мать Николая Симукова. Прошу быть повнимательней, товарищи. И вас также, уважаемая... м-м...

– Но позвольте в таком случае. Значит, насколько я поняла, они что же, хотят всегда жить одной семьей?

– Именно так.

– Но ведь вполне возможно... и это не в укор совсем... молодая женщина встретит достойного человека... не всегда же она будет жить одним только горем...

– Встретит – значит, выйдет замуж. Чего тут особенного?

– Особенного, конечно, нет. Но сразу же встанет вопрос о жилье. С кем и где будет жить старушка? Вместе с новым мужем своей снохи?

– Да при чем тут все эти вопросы? Пока же их нет? Нет. Вот когда они возникнут, если они еще возникнут, тогда их и придется решать тому, кому надо.

– А не нам ли именно и придется?

– Вполне возможно.

– Товарищи, я не пойму одного. Какое все это имеет отношение к существу заявления? Мы должны поступать в соответствии с законом. Закон гласит: прописать можно. Что еще нужно?

– Товарищ Смольников, давайте повернем вопрос несколько иначе. Так сказать, переведем его в сферу нравственную, общественную. Взглянем на проблему шире. Старушка отказывается от собственной жилплощади. Причина? Хочет жить вместе со снохой и внуком. Естественно такое желание? Конечно, естественно. И мы это желание понимаем. Принимаем его от всей души. Возьмем лучший вариант. Сноха вновь выходит замуж, и отношения у старушки с ее новым мужем самые хорошие. Возможно такое? В принципе – да. А по существу – вряд ли. Какому мужу захочется жить не с тещей даже, а с матерью бывшего мужа? Это противоручительно. Значит, постепенно отношения обострятся. Это лучший вариант – постепенно. Худший вариант – обострятся сразу же. Скажем, дойдет до скандала. До ультиматума. И куда тогда деваться старушке? Деваться некуда. А жить все-таки надо. И куда она придет? Это же ясно как дважды два, товарищи. К нам. Поэтому у меня вот такая мысль. Если им хочется жить вместе, кто же им мешает жить? Ведь жили же они до этого вместе? Без всякой прописки? Жили. Пускай и сейчас живут сколько им угодно. А на всякий случай у старушки пусть будет запасной вариант – собственная комната. Хочешь – живи в ней, хочешь – нет. Но она – твоя. Мало ли как жизнь сложится в дальнейшем.

– Степан Емельянович, ну а по-человечески если, как думаешь, хорошо ли, что вот мы им препятствие какое-то устраиваем? Люди хотят жить вместе, законно, основательно, а мы им – то, это... не по-божески как-то... будто подозреваем их в чем-то...

– Да не подозреваем, а думаем за них. Они-то только как родственники думают, а мы должны посмотреть на это шире, дальновидней.

– Мне вот тоже как-то интересно – с таким упорством добиваются, чтобы жить вместе. Может, они в самом деле самые близкие друг другу люди? Может, даже ближе, чем мать с дочерью?

– Товарищи, быть тут может все. Но не исключено, и даже это скорей всего, что просто молодая Симукова не хочет потерять лишнюю после смерти мужа жилплощадь, вот и вводит в заблуждение старушку, во что бы то ни стало стараясь прописать ее, а что все это выглядит не совсем красиво – назначать опекуна при живой матери, – это им и в голову не пришло.

– Но это уж вы совсем плохо о людях думаете.

– А почему мы должны думать о них хорошо?

– Да откуда вы знаете, что это все так, а не иначе? Вы хоть раз представляли себе психологию старого человека? Каково остаться одной? В комнате? Да зачем ей эта комната, четыре стены. Ей, может, сад нужен, огород, ухаживать за близкими, тепло нужно, родство... А так заберешься в эти четыре стены – и околеешь сразу.

– Что-то я вас не пойму, товарищ Смольников.

– Не пойму, не пойму... А чего тут понимать? Хотят люди жить вместе? Позволяет закон? И пускай живут. А то строят тут некоторые из себя благодетелей...

– Това-а-рищ Смольников...

– Если уж говорить откровенно – ох, хотел бы я иметь такую мать! Верней, тещу.

– Итак, выношу на голосование следующее предложение. Ввиду вышеизложенных обстоятельств предлагаю, чтобы на всякий случай за Симуковой Александрой Петровной оставалась собственная жилплощадь, для этого она должна в обязательном порядке получить ордер и прописаться по своему адресу. Однако, как и прежде, она может жить вместе со снохой и внуком, в чем ей не будут препятствовать по нашей общей договоренности ни милиция, ни ЖЭК. Итак, кто за это предложение? Кто против? Та-ак... Кто воздержался? Подвожу итог: большинством, подчеркиваю это, большинством голосов решено поддержать выдвинутое предложение. Тамара Алексеевна, попросите, пожалуйста, гражданку Симукову А.П. для объявления решения по двум ее заявлениям.

Вечером, никому ничего не сказав, Петровна потихоньку собралась и вышла из дому. Тяжелый круг солнца садился за Малаховую гору, подниматься по далекинским улицам приходилось вверх, тяжело было подниматься, брала одышка, но Петровна шла себе помаленьку и шла. Около первой далеки, у колодца, она присела, отдохнула немного, подождала, когда за водицей придет какая-нибудь хозяйка.

– Что, бабушка, ноги пристали?

– Пристали, пристали, милая.

Петровна с удовольствием, прямо из ведра, отпила холодной, почти в лед, водицы, предложенной хозяйкой, отерла губы пергаментной ладонью, поблагодарила.

– Куда это вы, бабушка? На Высокий Столб, что ли?

– Не-е, милая. В четвертую далеку иду, туда.

– Зачем же через гору? Можно бы и в обход, по берегу пруда.

– А привыкла я так. И смолodu так хаживала, и к старости дорогу не забыла.

– А дело-то какое?

– Да есть дело. Уж, конечно, не без дела иду. Хотя и дело-то такое... вроде и не дело.

– Чудно как-то.

– А как не чудно. Поживешь с мое, тоже чудною жизнь покажется.

Любила старуха через Малаховую ходить – далеко окрест открывалась округа с вершины горы. И огромный пруд, голубой по утрам, а к вечеру – густо-синий; и далее за прудом – большие леса: сосновые и еловые; у фермы, за городской дорогой, наливались рожью поля; и от всего, что открывалось глазу, веяло чистотой, простором, вольностью, и дышалось здесь совсем по-другому, и думалось, и вспоминалось. А иной раз просто стоишь как заморожен: покой и даль вливаются в тебя, наполняют тело легкостью, ясностью; ничего не хочется и хочется как будто разом все, жизнь и смерть словно сливаются, перестают существовать для тебя: только покой, только природа...

Так ли все это ощущала старуха – одному Богу известно, но именно там, на вершине Малаховой горы, она любила присесть прямо на землю, в травы, и сидела подолгу, смотрела вокруг и изредка легонько вздыхала. Если б не какая-нибудь забота, она, может, и вообще

забывала бы, сколько сидит тут, да не бывает такого – чтоб без забот, без волнений жить, тут-то и вспомнится что-нибудь и надо вставать, идти дальше.

Посидела на вершине Малаховой старуха и на этот раз. Посидела, подышала, отдохнула.

Даже отсюда, из далекого далека, видела она, куда шла сегодня – маленький припрудный пятачок, который и не узнать было, если б не ее глаз, который не только видел, но и помнил.

А давненько уж она не вспоминала, давненько.

Старуха поднялась со вздохом от земли, даже отряхивать сарафан не стала от травинок, пошла вниз, под гору, которая, теперь уже южным склоном, полого сбегала к берегам синего ввечеру пруда.

Вот еще и третья, и четвертая далеки стояли как живые, с теми же домами, огородами и садами, а пятая далека, где когда-то жила старуха, снесена была под корень, снесена и взорвана бульдозером. Отчего-то, когда снесли ее домишко, старуха переживала не сильно; может, Кольша тогда погиб, посильней было горе; может, Аня с Алешкой остались, забот поприбавилось; может, и потерю она особую не почувствовала, перебравшись к Ане, у которой тоже дом был как дом, на земле стоял, и это главное для нее было – на земле. А иной раз еще и потому особенно не позволяла горевать себе старуха, что ее дом – это и муж Гаврила, который умер уж сколько лет назад, и лучше не тревожить память, не берeditь раны. А теперь вот вдруг, сегодня особенно, потянуло в родную пятую далеку, где хоть и ничего не осталось от прежних забот и дней, но зарубина была, была давняя жизнь, которая, и исчезнув, не пропала, не сгинула окончательно из памяти.

Легче было от берега определить, где стояла раньше изба. Вот он – кол, металлический толстенный стержень, к которому еще Гаврила прищелкивал на увесистый замок рыбацкую свою лодчонку, кол этот и поныне стоит, не нужный никому, а может, и будет нужным, как только отстроят многоквартирный дом и кому-нибудь первому придет в голову: да прямо тут и рыбачить можно, уходить по утрам в туман, закреплять лодку в тычках, а после рыбалки – опять вот он, кол, вяжи к нему лодку и чувствуй себя хозяином.

Встала Петровна к колу, осмотрелась, оглянулась. Ну да, так вот прямо, в пятидесяти шагах, и стоял ее домишко, маленький, на два оконца, но свой. С огородом. С садом. А теперь, конечно, ничего не видать. Незнакомо, чуждо возвышается на этом месте блочный дом, пять этажей уже построили, да и этого мало – краны дальше гудят, будет шесть этажей – большая редкость для их заводского поселка.

Подошла старуха к прорабской сторожке, присела на завалившийся чурбачишко.

– Чего, мать, иль устала так? – спросил какой-то строитель.

– Устала малость.

– Ну, посиди, посиди. А то, может, к нам в бригаду пойдешь? У нас женского войску не хватает.

Петровна покачала головой, грустно улыбнулась:

– Ну, какой из меня вам помощник. Помирать скоро буду...

– Не торопись, мать. Все порем, а кто жить за нас станет?

– И то верно...

Не грустно, не тяжело, не больно было старухе. Просто вот сидела она на чурбачке, а раньше на этом месте у нее дом стоял. Да и не это главное. Главное, у нее все равно Аня есть, Алешка есть. И все у них есть, что надо для жизни. Дом этот, вот здесь, в пятой далеке, старухе был бы в тягость, одиночество да тоска замучили бы, Гаврила бы вспоминался, Кольша, а силы тают, с Алешкой, Аней оно вроде и ничего, есть земля и есть где покопаться, ощутить, что живешь, что земля кормит тебя, лечит. И не поймешь даже, отчего так потянуло сегодня сюда, захотелось вдруг к домику своему сходить, посидеть тут.

А хорошее место. Хорошее, ничего не скажешь. Гаврила ничего в свете не любил больше, чем пруд этот. Всю-то свою жизнь, а особенно старость, провел на воде. Чуть что – а уж он то

на крутояр, то на лавы уплыл, день и ночь пропадает на своей лодчонке. Петровна по огороду возится, по хозяйству, ждет его пождет, а старик на третьи иль на четвертые сутки только и заявится. Прокаленный костром, дымом, рыбным духом. Брови лохматые, в просветах бороды румянец пробивается, уставший, а присядет на лавку, скажет: «Да-а, старуха...» – и хитро так на Петровну посмотрит светлыми, в голубизну, глазами. С устатку любил выпить граненый стаканчик, старуха понимала, подносила...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.